

Д. Мережковский



Л. Толстой  
и Достоевский.  
Вечные спутники

Дмитрий Мережковский  
**Л.Толстой и Достоевский**

«Public Domain»

1901-1902

## **Мережковский Д. С.**

Л.Толстой и Достоевский / Д. С. Мережковский — «Public Domain», 1901-1902

В своей книге «Толстой и Достоевский» Мережковский показывает, что эти два писателя «противоположные близнецы» друг друга, и одного нельзя понять без другого, к одному нельзя прийти иначе, как через другого. Язычество Л.Толстого – прямой и единственный путь к христианству Достоевского, который был убежден, что «православие для народа – все», что от судеб церкви зависят и судьбы России. Каждый из них выражает свои убеждения в своих произведениях.

© Мережковский Д. С., 1901-1902

© Public Domain, 1901-1902

## Содержание

Жизнь и творчество	5
Вступление	5
Часть первая	11
Первая глава	11
Вторая глава	16
Третья глава	21
Четвертая глава	27
Пятая глава	40
Конец ознакомительного фрагмента.	46

# Дмитрий Сергеевич Мережковский Л. Толстой и Достоевский

## Жизнь и творчество

### Вступление

Поколение русских людей, вступившее в сознательную жизнь между восьмидесятыми и девяностыми годами XIX столетия, находится в таком трудном и ответственном положении относительно будущего русской культуры, как, может быть, ни одно из поколений со времени Петра Великого.

Я говорю – со времени Петра, потому что именно отношение к Петру служит как бы водораздельной чертой двух великих течений русского исторического понимания за последние два века, хотя в действительности раньше Петра и глубже в истории начинается борьба этих двух течений, столь поверхностно и несовершенно обозначаемых словами «западничество» и «славянофильство». Отрицание западниками самобытной идеи в русской культуре, желание видеть в ней только продолжение или даже только подражание европейской, утверждение славянофилами этой самобытной идеи и противоположение русской культуры западной, – в таком крайнем, чистом виде оба течения нигде не встречаются, кроме отвлеченных умозрений. Во всяком же действии, научно-историческом или художественном, они поневоле сближаются, соединяются, никогда, впрочем, не смешиваясь и не сливаясь окончательно. Так, у всех великих русских людей, от Ломоносова через Пушкина до Тургенева, Гончарова, Л. Толстого и Достоевского, несмотря на глубочайшие западные влияния, сказывается и самобытная русская идея, правда, с меньшей степенью ясности и сознательности, чем идеи общеевропейские. В этом недостатке ясности и сознания до сей поры заключалась главная слабость учителей славянофильства.

Тогда как западники могли указать на общеевропейскую культуру и на подвиг Петра, как на определенный и сознательный идеал, славянофилы обречены были оставаться в области романтических смутных сожалений о прошлом, или столь же романтических и смутных чаяний будущего, могли указать только на чересчур ясные, но неподвижные и омертвевшие исторические формы, или на слишком неясные, бесплотные и туманные дали, на то, что умерло, или на то, что еще не родилось.

Достоевский почувствовал и отметил эту болезнь славянофильства – недостаток ясности и сознания – «мечтательный элемент славянофильства», как он выражается. «Славянофильство до сих пор еще стоит на смутном и неопределенном идеале своем. Так что, во всяком случае, западничество все-таки было реальнее славянофильства, и, несмотря на все свои ошибки, оно все-таки дальше ушло, все-таки движение осталось на его стороне, тогда как славянофильство не двигалось с места и даже вменяло себе это в большую честь».

Западничество казалось Достоевскому реальнее славянофильства, потому что первое могло указать на определенное явление европейской культуры, тогда как второе, несмотря на все свои поиски, не нашло ничего равноценного, равнозначущего, и, вместе с тем, столь же определенного и законченного в русской культуре. Так думал Достоевский в 1861 году. Через шестнадцать лет он уже нашел, казалось ему, это искомое и не найденное славянофилами, определенное, великое явление русской культуры, которое могло быть сознательно, в совершенной ясности, противопоставлено и указано Европе, нашел его во всемирном значении новой, вышедшей из Пушкина, русской литературы.

«Книга эта, – писал он в „Дневнике“ за 1877 год по поводу только что появившейся „Анны Карениной“ Л. Толстого, – книга эта прямо приняла в глазах моих размер факта, который бы мог отвечать за нас Европе, того искомого факта, на который мы могли бы указать Европе. Анна Каренина есть совершенство, как художественное произведение, с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться, а во-вторых, и по идее своей это уже нечто наше, наше *свое*, родное, и именно то самое, что составляет нашу особенность перед европейским миром. Если у нас есть литературные произведения такой силы мысли и исполнения, то почему нам отказывает Европа в самостоятельности, в нашем *своем собственном* слове, – вот вопрос, который рождается сам собою».

В то время слова эти могли казаться дерзкими и самонадеянными; теперь они кажутся нам почти робкими, во всяком случае, недостаточно ясными и определенными. Достоевский указал в них только на малую часть того всемирного значения, которое открывается нам все с большею и большею ясностью в русской литературе. Для этого надо было видеть, как видели мы, не только законченный рост художественного творчества, но и все трагическое развитие нравственной и религиозной личности Л. Толстого, надо было понять глубочайшее согласие и глубочайшую противоположность Л. Толстого Достоевскому в их общей преемственности от Пушкина. Это уже, действительно, как выражается Достоевский, «факт особого значения», уже почти сознанное, хотя еще не сказанное, уже определенное, в плоть и кровь облеченное явление русской и в то же время всемирной культуры. Только самые чуткие люди в Западной Европе – Ренан, Флобер, Ницше – если не разгадали, то, по крайней мере, предчувствовали смысл этого явления. Но и до сей поры, несмотря на русскую моду в Европе последних десятилетий, отношение большей части европейской критики к русской литературе остается случайным и поверхностным. И до сей поры не подозревает она действительных размеров ее всемирного значения, уже видимых нам, русским, для которых открыт первоисточник русской поэзии – Пушкин, все еще недоступный для чуждого взгляда. И нам уже нет возврата ни к западникам, отрицающим самобытную идею русской культуры, ни, тем более, к славянофилам, не потому, чтобы их проповедь казалась нам слишком смелою и гордою, – может быть, наша вера в будущность России еще дерзновеннее, еще самовластнее, – а лишь потому, что эти книжные мечтатели и умозрители сороковых годов кажутся нам слишком покорными и боязливыми учениками немецкой метафизики, переряженными германофилами, простодушными гегелианцами. И если пророчество Достоевского: «Россия скажет величайшее слово всему миру, которое тот когда-либо слышал», оказалось преждевременным, то лишь потому, что сам он не договорил этого слова до конца, не довел своего сознания до последней степени возможной ясности, испугался последнего вывода из собственных мыслей, сломил их острие, притупил их жало, – дойдя до края бездны, отвернулся от нее и, чтобы не упасть, снова ухватился за неподвижные, окаменелые исторические формы славянофильства, те самые, для разрушения которых он, может быть, сделал больше, чем кто-либо. Нужна, в самом деле, великая ясность и трезвость ума, чтобы без головокружения, без опьянения народным тщеславием, признать всемирность идеи, открывающейся в русской литературе. Может быть, для нашего слабого и болезненного поколения в этом признании больше страшного, чем соблазнительного: я разумею страшную, почти невыносимую тяжесть ответственности.

Но, несмотря на то или, вернее, благодаря тому, что мы признали самобытную русскую идею, мы уже не можем, – чего бы это ни стоило, и какие бы роковые противоречия ни грозили нам, – высокомерно отворачиваться от западной культуры или малодушно закрывать на нее глаза, подобно славянофилам. Не можем забыть, что именно Достоевский, и как раз в то время, когда он был или, во всяком случае, считал себя, самым крайним славянофилом, с такою силою и определенностью высказал нашу русскую любовь к Европе, нашу русскую тоску по родному Западу, как ни один из наших западников: «У нас, русских, – говорит он, – две родины: наша Русь и Европа». «Европа... Но ведь это страшная и святая вещь! О, знаете ли вы, господа, как

нам дорога, нам, мечтателям-славянофилам, эта самая Европа, эта „страна святых чудес“! – «Знаете ли, до каких слез и сжатий сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и *родной* нам страны, как пугают нас эти мрачные тучи, все более и более заволакивающие ее небо склон? Русскому Европа также драгоценна, как Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук, вся история их – мне милей, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим!» – «Я хочу в Европу съездить, Алеша, – говорит Иван Карамазов, – и ведь я знаю, что я поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, – в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище и никак не более!»

Неужели – только кладбище? Но ведь Европа для русских – он это сам сказал – вторая родина. А разве может быть родиной живого народа кладбище? Нет, как ни страстно и ни сильно выражал он это чувство, все-таки не договорил последнего слова о нашей русской тоске по европейской родине, так же как не договорил и своей веры в будущность России. И пусть Европа – кладбище. Мы теперь уже знаем, что на этом кладбище погребены не только люди, герои, но и боги. А у богов есть такое свойство, что и в гробах они сохраняют бессмертие, так что, сколько ни погребай их, никогда нельзя быть уверенным, что они действительно умерли. Может быть, они только притворились мертвыми и спят, ожидая Возрождения, как семена ожидают весны. Не в самую ли глухую полночь средних веков, не самым ли благочестивым христианским подвижникам являлись они в виде страшных и соблазнительных демонов? Когда же боги воскресают и выходят из своих могил, то «старые камни» соединяются в новые храмы, «осколки святых чудес» – в новые, живые чудеса.

Еще недавно мы присутствовали при таком воскресении двух олимпийских богов, Аполлона и Диониса, на старом европейском кладбище, в юношеской и столь весенней книге Фридриха Ницше – «Рождение трагедии». И для нас, русских, это явление нового Аполлона и Диониса было тем более знаменательно, что оно напомнило нам видение отрока Пушкина, который из школы христианской наставницы, с очами «светлыми, как небеса», со словами «полными святыни», убежал «в великолепный мрак чужого сада», к языческим идолам:

Меж ними два чудесные творенья  
Влекли меня волшебною красой.  
То были двух бесов изображенья:  
Один – Дельфийский идол – лик молодой  
Был гневен, полон гордости ужасной,  
И весь дышал он силой неземной;  
Другой – женообразный, сладострастный,  
Сомнительный и лживый идеал,  
Волшебный демон, лживый, но прекрасный.

Мы также присутствовали при соединении этих двух противоположных демонов или богов в еще более необычайном и таинственном явлении Заратустры. И не могли мы не узнать в нем Того, Кто всю жизнь преследовал и мучил Достоевского, не могли не узнать Человекобога в Сверхчеловеке. И чудесным, почти невероятным, было для нас это совпадение самого нового, крайнего из крайних европейцев и самого русского из русских. Ни о каком влиянии или заимствовании тут речи быть не может. С двух разных, противоположных сторон подошли они к одной и той же бездне. Сверхчеловек – это последняя точка, самая острая вершина великого

горного кряжа европейской философии, с ее вековыми корнями возмущившейся, уединенной и обособленной личности. Дальше некуда идти: исторический путь пройден; дальше – обрыв и бездна, падение или полет – путь сверхисторический – религия.

Особый поразительный смысл имеет для нас, русских, явление Заратустры и потому, что мы принадлежим к народу, который дал миру, может быть, единственное величайшее во всей новой европейской истории воплощение сверхчеловеческой воли – в Петре. Религиозная часть русского народа сложила странную и доныне мало исследованную легенду о Петре как об Антихристе, об апокалиптическом «Звере, вышедшем из бездны». И тот из русских людей, кто по духу был ближе всех к Петру, кто понял его глубже всех, русский певец Аполлона и Диониса – Пушкин – не обратился ли к нему же с этим вопросом, полным столь знакомого нам вешего ужаса:

О, мощный властелин судьбы,  
Не так ли ты уздой железной  
На высоте, над самой бездной  
Россию вздернул на дыбы?

«Петровская реформа, – говорит Достоевский, – продолжавшаяся вплоть до нашего времени, дошла, наконец, до последних своих пределов. Дальше нельзя идти, да и некуда: нет дороги, *она вся пройдена*». И в другом месте, в одном из своих предсмертных писем: «Вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездною». Не та же ли это бездна, о которой говорит Пушкин, – над которой Медный Всадник на своей обледенелой глыбе гранита вздернул Россию на дыбы железною уздой? Такого страшного ощущения этой бездны, как у нашего поколения, не было ни у одного из поколений со времени Петра. На Западе, то есть в Европе – «дух ратный», на Востоке, то есть в России – «дух благодатный», как утверждали в Космографиях московские книжники XVII века, или, говоря языком Достоевского, – Человекобог и Богочеловек, Христос и Антихрист – вот два противоположные берега, два края этой бездны. И горе наше или счастье в том, что у нас действительно «две родины – наша Русь и Европа», и мы не можем отречься ни от одной из них: мы должны или погибнуть, или соединить в себе оба края бездны.

Достоевский прав: и с той, и с другой стороны, и с восточной, и с западной, вся дорога пройдена, исторический путь кончен – дальше идти некуда; но мы знаем, что когда кончается история, начинается религия. У самого края бездны необходимо и естественно является мысль о крыльях, о полете, о *сверхисторическом пути* – о религии. Ницше, боровшийся во имя Человекобога с Богочеловеком, победил ли Его? Достоевский, боровшийся во имя Богочеловека с Человекобогом, победил ли его? – вот вопрос, от которого зависит все будущее не только русской, но и всемирной культуры.

Когда несколько лет тому назад, в статье о Пушкине, я высказал мысль, что главная особенность его сравнительно с другими великими европейскими поэтами заключается в разрешении всемирных противоречий, в соединении двух начал, языческого и христианского, в еще небывалую гармонию, меня обвинили в том, что я приписываю Пушкину мои собственные, будто бы «ницшеанские» мысли, хотя, кажется, никакая мысль не может быть противоположнее, враждебнее последним выводам ницшеанства, чем именно эта мысль о соединении *двух* начал. Больше, чем кто-либо, я чувствую, как недостаточны и несовершенны были слова мои, но все-таки я не могу от них отречься.

Мои судьи, если бы они желали быть последовательны, должны бы обвинить и Достоевского в том, что он приписывал Пушкину свои собственные мысли. «Именно теперь в Европе, – говорит Достоевский, – все поднялось одновременно, все мировые вопросы разом, а вместе с тем и все *мировые противоречия*». И в заключительных словах Пушкинской речи, говоря о

самой сущности мирозерцания Пушкина как «непонятого предвозвестителя будущей русской культуры», он еще раз возвращается к этим противоречиям:

«Впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие, грядущие русские люди, поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия». Что же это за противоречия? Не те ли самые, которыми он только и мучился всю жизнь, о которых он только и думал и которые в одном из своих предсмертных дневников он высказал с такою ясностью, с какою до него никогда никто не говорил о них:

*«Произошло столкновение двух самых противоположных идей, которые только могли существовать на земле: Человекобог встретил Богочеловека, Аполлон Бельведерский – Христа».*

Но ведь это же и есть то «мировое противоречие», о котором и я говорил в статье о Пушкине, разрешения которого и я искал в нем. Правда, Достоевский и здесь, как будто испугавшись, не договаривает последнего слова, не делает последнего вывода. Но при теперешней степени *всеобщего*, неизбежного сознания, нам уже нельзя останавливаться, не договаривать и не делать последнего шага. Я его сделал, и вот все, что я сделал, и тому, кто несколько глубже знает Достоевского, ясно будет, как это мало.

Во всяком случае, возражая мне, надо было вспомнить и о нем, а о нем-то и забыли так, как будто его вовсе не было в русской литературе, как будто Достоевский никогда ничего не говорил о Пушкине, как будто то, что приняли за нечто наносное, чуждое, болезненно-декадентское, «нищепанское», – не самое родное наше, кровное, вечное, русское, пушкинское, что только есть у нас и было, и будет. Я, впрочем, думаю, что к этому вопросу русская критика принуждена будет вернуться; его не обойдешь и от него не спрячешься никуда: загадка Пушкина стоит на всех путях нового русского сознания, как загадка Сфинкса перед Эдипом.

Да, несмотря на все хвалы и почести, воздаваемые Пушкину, несмотря на все изучения и толкования, он для нас все еще загадка, и даже кажется, чем ближе он к нам, тем неуловимее, неисповедимее. Пушкин – воздух, которым мы дышим, белый свет, в котором мы видим все другие цвета, он – русская мера всего, наш собственный взгляд на все, он – мы сами в нашей последней, еще для нас самих не открывшейся глубине, и вот почему узнать его нам так же трудно, как узнать себя, и, может быть, разгадать Пушкина это именно и значит найти себя в нем.

В русской литературе нет писателей, более внутренне близких и в то же время более противоположных друг к другу, чем Достоевский и Л. Толстой. Оба они вышли из Пушкина. Достоевский это сознавал; Л. Толстой, кажется, никогда об этом не думал и этого не чувствовал, но мы ведь знаем за него, что без Пушкина не было бы Л. Толстого. Он и Достоевский близки и противоположны друг другу, как две главные, самые могучие ветви одного дерева, расходящиеся в противоположные стороны своими вершинами, сросшиеся в одном стволе своими основаниями. Углубляясь и во Льва Толстого, и в Достоевского, мы доходим до общего их основания – до Пушкина. Луч пушкинского белого света они преломили и разложили на цвета радуги. Но не должно забывать, что за их разнообразием и противоположностью скрывается единство белого света.

Изучать Л. Толстого и Достоевского значит разгадывать тайну Пушкина в новой русской поэзии, ту великую тайну, о которой упомянул Достоевский в последних, столь пророческих словах своей пушкинской речи:

«Пушкин умер в полном развитии своих сил и, бесспорно, унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем».

Для нашего поколения, увидевшего оба края бездны, тайна Пушкина, тайна всей будущей русской культуры есть разрешение мировых противоречий, «столкновение двух самых противоположных идей, какие только могли существовать на земле», новая, может быть, вели-

чайшая и последняя борьба духа восточного и западного, «духа ратного и благодатного». Бого-человека и Человекобога.

## Часть первая Жизнь Л. Толстого и Достоевского

### Первая глава

У обоих, в особенности у Л. Толстого, произведения так связаны с жизнью, с личностью писателя, что нельзя говорить об одном без другого: прежде чем изучать Достоевского и Л. Толстого как художников, мыслителей, проповедников, надо знать, что это за люди.

В русском обществе, отчасти и в критике, утвердилось мнение, будто бы в конце семидесятых, в начале восьмидесятых годов с Л. Толстым произошел глубокий нравственный и религиозный переворот, который в корне изменил не только всю его личную жизнь, но и умственную, и писательскую деятельность, как бы переломил его существование на две половины: в первой он – только великий писатель, может быть, и великий человек, но все-таки человек от мира сего, с человеческими и даже русскими страстями, скорбями, сомнениями, слабостями; во второй – он выходит из всех условий исторического быта и культуры; одни говорят, что это христианский подвижник, другие – безбожник, третьи – фанатик, четвертые – мудрец, достигший высшего нравственного просветления, как Сократ, Будда, Конфуций, – основатель новой религии.

Сам Л. Толстой в «Исповеди», написанной в 1879 году, подтверждает и как бы даже подчеркивает единственность, бесповоротность и окончательность этого религиозного перерождения:

«Пять лет тому назад со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать. – Эти остановки жизни всегда выражались одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а потом? – Я будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти. Я ясно увидел, что впереди ничего нет, кроме гибели. – Я всеми силами стремился прочь от жизни. – И вот я, счастливый человек, прятал от себя шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами в своей комнате, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни».

От этого отчаяния, от самоубийства спасло его, как он полагает, сближение с простыми верующими людьми, с рабочим народом:

«Я жил так, т. е. в общении с народом, года два, и со мной случился переворот. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга – богатых ученых – не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, наука, искусство – все это предстало мне в новом значении. Я понял, что все это одно баловство, что искать смысла в этом нельзя».

«Я возненавидел себя, и я признал истину. Теперь мне все ясно стало».

Самый бесхитростный, а потому и самый драгоценный, достойный наибольшего доверия из жизнеописателей Л. Толстого, брат его жены, С. А. Берс, в своих «Воспоминаниях» тоже говорит об этом «перевороте» 80-х годов, который будто бы «изменил всю умственную деятельность и внешнюю жизнь Льва Николаевича».

«Перемена всей его личности, происшедшая за последнее десятилетие, в настоящем смысле *полная и коренная*. Изменилась не только его жизнь и отношение ко всем людям и ко всему живому, но изменилась и вся мыслительная его деятельность. *Весь Лев Николаевич сделался олицетворенною идеею любви к ближнему*».

Столь же определенно свидетельство жены его, графини Софьи Андреевны Толстой:

«Если бы ты знал и слышал теперь Левочку! – писала она брату в начале 1881 года. – Он много изменился. Он стал христианин и самый искренний и твердый».

Трудно было бы усомниться в столь сильных и достоверных свидетельствах, если бы у нас не было источника еще более достоверного – собственных художественных произведений Л. Толстого, которые в сущности, от первого до последнего, не что иное, как один огромный пятидесятилетний дневник, одна бесконечно подробная «исповедь». В литературе всех веков и народов едва ли найдется другой писатель, который обнажал бы самую частную, личную, иногда щекотливую сторону жизни своей с такою великодушною или беззастенчивою откровенностью, как Толстой. Он, кажется, сказал нам о себе все, что только имел сказать, и мы о нем знаем все, что он сам знает о себе.

К этой-то художественной и, следовательно, непреднамеренной, произвольной исповеди нельзя не обратиться, решая вопрос о действительном значении религиозного переворота, происшедшего в нем в пятидесятые, то есть уже в предстарческие годы его жизни.

В первом произведении своем, в «Детстве, Отрочестве и Юности», книге, написанной двадцатилетним юношей, рассказывает он свои еще свежие воспоминания из четырнадцатилетнего или пятнадцатилетнего возраста.

«В продолжение года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе, моральную жизнь, все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представились мне; и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигать ум человека...»

Однажды весенним утром, помогая слуге выставлять рамы на окнах, почувствовал он внезапную радость и умиление христианского самопожертвования:

«Мне хотелось измучиться, оказывая эту услугу Николаю». «Как дурен я был прежде, как я мог бы и могу быть хорош и счастлив в будущем! – говорил я сам себе. – Надо скорей, скорей, сию же минуту сделаться другим человеком и начать жить иначе».

«Исправить все человечество, уничтожить все пороки и несчастья людские» – стало ему казаться «удобоисполнимою вещью». И он решил «написать себе на всю жизнь расписание своих обязанностей и занятий, изложить на бумаге цель своей жизни и правила, по которым всегда уже, не отступая, действовать». Он тотчас пошел к себе наверх, достал лист писчей бумаги, разлиновал ее и, разделив обязанности к самому себе, к ближним и к Богу, начал записывать.

С грустною, почти жуткою и все-таки слишком поверхностною насмешкою, как будто не подозревая всей глубины и болезненности того, что с ним происходило, рассказывает он свои тогдашние, по слову апостола Иакова, *двоящиеся* мысли. Получается странное впечатление: как будто в нем два сердца, два человека. Один, вследствие христианских мыслей о смерти, чтобы приучить себя к страданию, «несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексикона Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах»; другой, вследствие тех же мыслей о смерти, вспомнив вдруг, что смерть ожидает его каждый час, каждую минуту, решал бросить уроки... и дня три «занимался только тем, что, лежа на постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, которые покупал на последние гроши». Один Лев Толстой сознательный, добрый и слабый, смиряется, кается, питает отвращение к себе, к своей порочности; другой – бессознательный, злой и сильный, «воображает себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины, и с гордым сознанием своего достоинства смотрит на остальных смертных», находя особое, утонченное, как бы сладострастное, наслаждение гордости даже в отвращении к себе, самоуничтожении, самобичевании.

Рассказывая об этих отроческих мыслях своих, приходит он к заключению, что в основе их было четыре чувства: первое – «любовь к воображаемой женщине», то есть сладострастие плоти; второе – «любовь любви» людской, то есть гордость, сладострастие духа; третье

– «надежда на необыкновенное тщеславное счастье, такая сильная и твердая, что она переходила в сумасшествие»; четвертое – отвращение к самому себе и раскаяние.

Но, в сущности, это – не четыре, а только два чувства, ибо первые три соединяются в одно – в любовь к себе, к своему *телу*, к своей *телесной* жизни или к своему *Я*; второе – отвращение, ненависть к себе, нелюбовь к другим или к Богу, а именно *только* ненависть к себе. И здесь, и там первая основа и соединение двух столь, по-видимому, противоположных чувств есть *Я*, или до крайней степени утверждаемое, или до крайней степени отрицаемое. Все начинается и все кончается в *Я*: ни любовь, ни ненависть не могут разорвать этого круга.

И вот вопрос: какой же из двух перемежающихся, сливающихся Львов Николаевичей Толстых – наиболее истинный, искренний, вечный: тот ли, кто стегает себя по голой спине аскетической веревкой, или тот, кто ест эпикурейские пряники с кроновским медом, баюкая себя мыслью о смерти, о том, что все под солнцем – суета сует и томление духа, что лучше псу живому, нежели мертвому льву? Тот ли, кто любит, или тот, кто ненавидит себя? Кто все свои мысли, чувства, желания начинает по-христиански, или – кто кончает их по-язычески? Или, может быть, наконец, – и это было бы для него самое страшное, – оба они одинаково искренние, одинаково истинные, одинаково вечные?

Во всяком случае, он судит себя и свои отроческие мысли, которые называет своими «умствованиями», с такою строгостью и честностью в этом первом произведении, с какими впоследствии уже никогда не судил себя даже на знаменитых, столь жгуче-покаянных и самобичующих страницах «Исповеди».

«Из всего этого тяжелого морального труда я не вынес ничего, кроме изворотливости ума, ослабившей во мне силу воли, и привычки к постоянному моральному анализу, уничтожившей свежесть чувства и ясность рассудка. – Склонность моя к отвлеченным размышлениям до такой степени неестественно развила во мне сознание, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей, я не думал уже о вопросе, занимавшем меня, а думал о том, о чем я думал. Спрашивая себя: о чем я думаю? – я отвечал: я думаю, о чем я думаю. А теперь о чем я думаю? Я думаю, что я думаю, о чем я думаю, и так далее. Ум за разум заходил».

По поводу первой неудачи с «Правилами жизни», когда, желая разлиновать бумагу и употребив вместо не нашедшейся линейки латинский лексикон, он размазал чернила в продолговатую лужу, с грустью замечает он:

«Зачем все так прекрасно, ясно у меня в душе и так безобразно выходит на бумаге и вообще в жизни, когда я хочу применять к ней что-нибудь из того, что думаю?»

Но, может быть, это лишь беспомощность детского ума и детской совести, которая пройдет с годами, когда явится полное сознание и возмужалость духа? – Едва ли так. По крайней мере, он уже и тогда, как писал «Детство и Отрочество», двадцатичетырехлетним юношей, сознавал, что эта детскость его не зависит от возраста и что неизгладимый след ее останется в нем на всю жизнь:

«Я убежден в том, что, если мне суждено прожить до глубокой старости, и рассказ мой догонит мой возраст, я стариком семидесяти лет буду точно так же невозможно ребячески мечтать, как и теперь».

В этих простых и спокойных словах не больше ли христианского смирения, – если уж вообще говорить о христианском смирении Л. Толстого, – чем во всех его последующих, столь громких и страстных, покаянных исповедях? Не легче ли сказать о себе, перед лицом всего мира, как он впоследствии говорил: «я паразит, я вошь, я блудник, вор и убийца», чем в тишине совести признать действительную меру сил своих: я до сих пор такой же ребенок в моих старческих мыслях, как и в моих отроческих умствованиях; несмотря на всю беспредельную силу заключенного во мне художественного гения, я – в моих исканиях Бога – не вождь, не про-

рок, не основатель новой религии, а такой же слабый, заблудившийся, болезненно-раздвоенный человек, как все люди моего времени.

«Утро помещика» – в хронологическом порядке произведений Л. Толстого, который вполне соответствует действительному порядку жизни его, есть как бы следующая глава, продолжение огромного дневника его. Князь Дмитрий Нехлюдов – не кто иной, как Николай Иртенъев, герой «Детства, Отрочества и Юности», вышедший из университета, где, не окончив курса, он понял тщету всех человеческих знаний, и поселившийся в деревне помещиком, чтобы помогать простому народу. В Нехлюдове совершается такой же нравственно-религиозный поворот, как в Иртенъеве:

«...Глупость все то, что я знал, чему верил и что любил, – говорил он сам себе. – Любовь, самопожертвование – вот одно истинное, независимое от случая счастье!»

Действительность, однако, не удовлетворяет его. «Где эти мечты? – думает он. – Вот уже больше года, что я ищу счастья на этой дороге, и что ж я нашел? Правда, иногда я чувствую, что могу быть довольным собою; но это какое-то *сухое, разумное довольство*».

Нехлюдов убеждается, что, несмотря на все свое желание, он не умеет делать добро людям. И мужики выказывают недоверие к христианским чувствам барина. Единственный вывод из этого неудачного и в сущности ребяческого опыта соединить помещичьи добродетели с евангельскими – болезненно-бесплодная зависть к молодому крестьянину Илюшке, даже не к духовной, а только к телесной силе его, здоровью, свежести, безмятежному сну его мысли и совести.

Из жизнеописания Толстого мы знаем, что после неудачного нехлюдовского опыта с яснополянскими мужиками, разочаровавшись в своих помещичьих способностях, он покинул деревню и уехал на Кавказ, где поступил юнкером в артиллерию, увлекаемый романтическими мечтами о военной славе и о прелестях первобытной жизни горцев, подобно герою «Казаков», Оленину.

Так же, как Иртенъев и Нехлюдов, Оленин сознает себя безгранично свободным. Это особенная русская свобода молодого богатого барина сороковых годов, для которого нет никаких «ни физических, ни моральных оков; он все мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал... *Он любил до сих пор только себя одного* и не мог не любить, потому что ждал от себя одного хорошего и не успел еще разочароваться в самом себе».

Но хотя он ни во что не верит и ничего не признает, хотя он любит только себя просто-душною, детски-циническою любовью, этот недоучившийся студент, юнкер артиллерии уже противопоставляет свои «философские открытия», свое опрощение среди станичных казаков – культурной жизни всего человечества.

«Ему ясно казалась та ложь, в которой он жил прежде и которая уже и там возмущала его, а теперь стала ему невыносимо гадка и смешна».

«Как вы мне гадки и жалки! – пишет он своим московским приятелям, – вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь! Надо раз испытать жизнь во всей ее безыскусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу перед собой: вечные, неприступные снега гор и величавую женщину в той первобытной красоте, в которой должна была выйти первая женщина из рук своего творца, и тогда ясно станет, кто себя губит, кто живет в правде или во лжи – вы или я. Коли бы вы знали, как мне мерзки и жалки – вы в вашем обольщении!»

«Люди живут, как живет природа: умирают, рождаются, совокупляются, опять рождаются, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, кроме тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет... Счастье – это быть с природой».

Эту первобытную мудрость воплощает действительный герой повести, старый казак дядя Ерошка, одно из величайших и совершеннейших созданий Л. Толстого, которое дает возмож-

ность заглянуть в самую темную, тайную, его собственному сознанию, может быть, никогда не открывшуюся, глубину существа его. Здесь в первый и, кажется, в последний раз с художественно-законченной, почти сознательною ясностью выступает одно из двух лиц, вечно спорящих в нем: лицо, всегда действующее, но мало говорящее о себе и еще менее себя сознающее. Столь знакомое, и все-таки незнакомое, до сих пор не разгаданное, не освещенное лицо самого Л. Толстого как будто сквозит и мелькает в лице этого исполина с детскими глазами, со старческими, могучими трудовыми морщинами, с юношескими мышцами, с крепким смешанным запахом чихиря, водки, пороха и запекшейся крови – в лице дяди Ерошки.

Жизнь его так же, как жизнь полудиких чеченцев, наполнена «любовью к свободе, праздности, грабежу и войне». Он сам говорит о себе с простодушною гордостью: «Я – молодец, пьяница, вор, охотник... Я человек веселый, я всех люблю, я, Ерошка!»

Это – бессознательный русский философ-циник. Он чувствует себя столь же безгранично свободным, как и русский барин Оленин. Так же ничего не признает и ни во что не верит. Живет вне человеческих законов, вне зла и добра. Татарские муллы и русские староверы-уставщики возбуждают в нем одинаково спокойную и презрительную насмешку:

«А по-моему, все одно. Все Бог сделал на радость человеку. *Ни в чем греха нет.* Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше, и в нашем живет. Что Бог дал, то и лопают. А наши говорят, что за это будем сковороды лизать. Я так думаю, что все одна фальшь... Сдохнешь... трава вырастет... вот и все».

У него древняя, дочеловеческая мудрость, бездонно-ясная и в то же время темная душа лесного полубога-полужверя – фавна или сатира. Он умеет быть по-своему добрым и нежным. Любит все живое, всякую Божью тварь. И эта любовь как будто напоминает христианство, может быть, потому, что в последней, бессознательной глубине язычества есть начало будущего поворота к христианству, оргийное начало Диониса – самоотречения, самоуничтожения, слияния человека с богом Паном, Отцом всего сущего. Не следует, однако, забывать не только исторической, но и психологической пропасти, отделяющей это первое, дикое и, если можно так выразиться, *языческое христианство*, от второго, культурного христианского сознания. Если они и соприкасаются, то лишь так, как самые противоположные крайности иногда соприкасаются.

Дядя Ерошка отгоняет ночных бабочек, которые выются над колыхающимся огнем свечи и попадают в него.

«Дура, дура!...Куда летишь? Дура! Дура! – Он приподнялся и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек».

Не напоминает ли в эту минуту кроткая улыбка дяди Ерошки улыбку св. Франциска Ассизского?

И от него же пахнет запекшейся кровью, может быть, не только звериною, но и человеческою, потому что на совести старого «вора» не одно убийство. Как природа, он и милосерд, и жесток в одно и то же время. Он сам не чувствует и не понимает этого противоречия. То, что впоследствии разделится на зло и добро, в нем еще слито в первобытном единстве, в бессознательной гармонии.

И Оленин в своем собственном сердце, столь тщетно желающем обратиться в христианство, находит родственный отклик этой цинической мудрости дяди Ерошки. В тишине бездыханного полдня, в чаще южного леса, среди грозного избытка жизни, он вдруг познает нехристианское отречение от себя, полужверское, полубожеское слияние с природой, – священную дикую мудрость фавнов и сатиров, кажущуюся людям безумием, полную восторгом и ужасом, который древние называли ужасом бога Пана, *бога Всего*.

«И вдруг на Оленина нашло такое странное чувство беспричинного счастья в любви ко *всему*, что он, по старой детской привычке, стал креститься и благодарить *кого-то*». Прислушиваясь к жужжанию комаров, Оленин думает: «Каждый из них такой же особенный Дмит-

рий Оленин, как и я сам»... «И ему ясно стало, что он несколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар, или такой же фазан или олень, как те, которые живут теперь вокруг него. „Так же, как они, как дядя Ерощка, поживу, умру. И правду он говорит: только трава вырастет“.

Но и в нем два человека; и этот второй Оленин, подобно Иртеньеву и Нехлюдову, твердит все одно и то же: «Любовь, самоотвержение! Не стоит жить для себя, надо жить для других». И он пытается примирить нечеловеческую мудрость леших и сатиров с умеренными, полезными и разумными «христианскими» добродетелями. Он жертвует своею любовью к Марьяне казаку Лукашке. Но ничего из этого не выходит, так же как из иртеньевских «правил жизни», из нехлюдовского помещичьего христианства.

«Я не виноват, что я полюбил, – вырывается у него в минуту отчаяния поразительное признание. – ... Я спасался от своей любви в самоотвержении, я выдумал себе радость в любви казака Лукашки с Марьянкой и только раздражал свою любовь и ревность... я не имею своей воли, а чрез меня любит ее какая-то стихийная сила, весь мир божий, вся природа вдавливают любовь эту в мою душу и говорят: люби. – Я писал прежде о своих новых (то есть христианских) убеждениях, но никто не может знать, каким трудом выработались они во мне, с какою радостью сознал я их и увидел новый открытый путь в жизни. Дороже этих убеждений ничего во мне не было... Ну... пришла любовь, и их нет теперь, нет и сожаления о них. Даже понять, что я мог дорожить *таким односторонним, холодным, умственным настроением*, для меня трудно. Пришла красота и в прах рассеяла всю египетскую жизненную внутреннюю работу. И сожаления нет о исчезнувшем! Самоотвержение – все это вздор, дичь. Это все гордость, убежище от заслуженного несчастья, спасение от зависти к чужому счастью. Жить для других, делать добро! Зачем? когда в душе моей *одна любовь к себе...*»

Одна любовь к себе – этим все начинается и все кончается. Любовь или ненависть к себе, только к себе – вот две главные, единственные, то скрытые, то явные оси, на которых все вертится, все движется в первых, может быть, самых искренних произведениях Л. Толстого.

Да и в первых ли только?

## Вторая глава

Юнкер Оленин мечтает о флигель-адъютантстве. Мы знаем, что юнкер артиллерии, гр. Л. Н. Толстой, также мечтал о флигель-адъютантстве и георгиевском кресте. «Во время службы на Кавказе, – рассказывает Берс, – Лев Николаевич страстно желал получить георгиевский крест». При открытии Крымской кампании он был сначала под Силистрией, потом перешел в Севастополь, где пробыл под огнем трое суток на четвертом бастионе и участвовал в штурме, выказывая большую храбрость.

Это свое тогдашнее военное честолюбие выразил он впоследствии, с обычною откровенностью, в тайных мыслях одного из своих любимых героев, князя Андрея Болконского в «Войне и мире», который мечтает сделаться русским Наполеоном.

«Если я хочу этого, хочу славы, – говорит себе князь Андрей перед Аустерлицким сражением, – хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими, то ведь я не виноват, что хочу этого, что одного этого я хочу, для одного этого я живу... *Я никогда никому не скажу этого*, но, Боже мой! что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди: отец, сестра, жена, – самые дорогие мне люди, – но, как ни страшно и ни неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей...»

Лев Николаевич был уже представлен к столь страстно им желаемому георгиевскому кресту, но не получил его, как уверяет Берс, «вследствие личного нерасположения одного из

начальников». Эта неудача сильно опечалила его, но вместе с тем «изменила его взгляд на храбрость», со своим неизменным простодушием уверяет Берс. Ему же признался однажды Лев Николаевич «в своей гордости и тщеславии: когда после неудач в молодости, то есть военных, он приобрел громкую славу писателя, он высказал мне, что эта слава – величайшая радость и большое счастье для него. По его собственным словам, в нем было приятное сознание того, что он – писатель и аристократ». Иногда с усмешкой говорил он, что «не заслужил генерала от артиллерии, зато сделался генералом от литературы».

Едва ли некоторая грубость и беззастенчивость этого признания принадлежит Толстому; по всей вероятности, даже в шутке, с глазу на глаз, сумел он выразиться тоньше и стыдливее. Но, с другой стороны, надо видеть всю глубину наивного, так сказать, беспомощного благоговения Берса перед великим родственником, чтобы чувствовать, что на какую-нибудь злую и остроумную выдумку он совершенно неспособен. Он пишет свое *жизние* Л. Толстого в простоте сердца, как создатели древних легенд, хотя, правда, простота Берса для его героя иногда хуже воровства, зато для исследователя, может быть, лучше всякого ума.

Как бы то ни было, разочаровавшись в войне и в военной храбрости, которой впоследствии он так бессмертно и беспощадно отомстил в своих произведениях, вышел он в отставку поручиком артиллерии и уехал сначала в Петербург, потом за границу. «Петербург, – замечает Берс, – ему никогда не нравился. Он не мог ничем выдвигаться в высшем кругу Петербурга: служебной карьеры, разумеется, не домогался, большим состоянием не владел, а громкой славы писателя тогда еще не составилось».

Вернувшись из-за границы в год освобождения крестьян, Толстой занялся мировым посредничеством и сельскою школою в Ясной Поляне. Одно время думал он отдать всю жизнь этой деятельности и окончательно успокоиться на ней. Но мало-помалу разочаровался и в школе так же, как во всех своих прежних попытках делать людям добро. И дошел, наконец, до того, что увидел нечто «преступное», как он сам выражается в своем отношении к детям:

«Мне казалось, что я развратил чистую, первобытную душу крестьянского ребенка. Я смутно чувствовал в себе раскаяние в каком-то святотатстве. Мне вспоминались дети, которых праздные и развратные старики заставляют ломаться и представлять сладострастные картины для разжигания своего усталого, истасканного воображения».

Покаяние, как всегда у него, хотя искреннее, но безудержное и болезненно чрезмерное. Из его тогдашних школьных дневников одно лишь ясно, что он, действительно, заботился не столько о детях, сколько о себе самом. Заставляя Федьку и Сеньку писать сочинения, которые потом в своем педагогическом журнале объявлял более совершенными, чем произведения Л. Толстого, Пушкина, Гёте, он делал на душах детей, может быть, слишком для себя ответственные и для них небезопасные опыты со своею собственною душою. Он любовался, вечный Нарцисс, своим отражением в детских душах, как в зеркале глубокого и девственного родника. Он любил и в детях, этот, может быть, в самом деле роковой для них и страшный учитель, только себя, себя одного.

«Дело, казалось, шло хорошо, – признается он в „Исповеди“, – но я чувствовал, что я не совсем умственно здоров, и долго это не может продолжиться».

В нем уже опять готовился нравственный переворот. «Я заболел, – говорит он, – более духовно, чем физически, бросил все и поехал в степь к башкирам, пить кумыс и жить животною жизнью».

Вернувшись, он женился на Софье Андреевне Берс.

Все прежние попытки устроиться в жизни – нехлюдовская помещицья благотворительность, опрощение в казачьей станице, война, школа – были только любительством, дилетантизмом, в самом широком, старинном смысле этого слова – *охотою*, ибо во всю свою жизнь он, подобно дяде Ерошке, прежде всего – великий, бесконечно-разнообразный *охотник*.

Но женитьба это уже не охота, не игра, а первое в жизни его важное, все обновляющее и все преобразующее, святое и страшное для него дело, которому он не только хочет отдаться, но действительно отдается.

Ему тридцать четыре года, ей восемнадцать. Тотчас после свадьбы уехали они в Ясную Поляну и провели в ней почти безвыездно около двадцати лет, в совершенном уединении, никогда не скучая, ни в ком не нуждаясь. Это лучшие годы Л. Толстого, в которые он создал «Войну и мир» и «Анну Каренину», – высший подъем и расцвет его сил. «Любовь ее к мужу безгранична, – пишет брат Софьи Андреевны, – близость, дружба и взаимная любовь этой четы всегда служили для меня образцом и идеалом супружеского счастья. Недаром говорили ее родители: „Соне лучшего счастья пожелать нельзя!“

Мы видим в «Воспоминаниях» Фета эту Наташу или Кити, один из самых безупречных и законченных женских образов помещицей русской культуры – «всю в белом, с огромною связкою тяжелых ключей за поясом», – простую, тихую, всегда веселую и большею частью беременную, потому что у нее тринадцать человек детей. «Она семь раз переписала „Войну и мир“, и одновременно с этим трудом, – говорит Берс, – и с заботами хозяйки дома, доходившими до подробностей в кухне, она сама успевала кормить, учить и обшивать детей до десятилетнего возраста». Когда родилась у них вторая дочь, и мать заболела, так что была при смерти и после нескольких попыток все-таки не могла кормить, – увидав, что дочь ее кормит другая женщина, она плакала от ревности к ней, тотчас удалила кормилицу, и ребенок был вскормлен на рожке. «Лев Николаевич находил эту ревность естественною и восхищался чадолюбием жены».

Чадолубие, чадородие – здесь не кажутся слишком торжественными эти ветхозаветные слова, напоминающие древних библейских патриархов Авраама, Исаака и Иакова, которые получили завет от Бога Израиля: плодитесь, множитесь и наполняйте землю. Что бы ни думали мы о семейном счастье Л. Толстого, нельзя не согласиться, что есть в этом нечто целое, твердое, стройное, если не совершенное, то, по крайней мере, завершенное, а следовательно, прекрасное, как сказал бы народ – *благолепное*, то есть именно самое редкое в теперешней русской жизни – ни живой, ни мертвой, окончательно не разрушенной, а только изъеденной, обезображенной, как постыдною болезнью, разлагающим семью карамазовским ядом.

Мы, слабые, дерзкие, слишком жадно устремленные к будущему, привыкли мало ценить законченные формы прошлого, это «благолепие», «благообразие», эти цепкие, животнорастительные корни всякой человеческой культуры, глубоко уходящие в подземную, родную, живую, животную темноту и теплоту, которыми, однако, только и питается и, наперекор всяким «серым теориям», вечно зеленеет «золотое дерево жизни». Нам кажутся цинично-грубыми и мещанскими эти, может быть, только слишком откровенные слова Николая Ростова в эпилоге «Войны и мира»:

«Все это поэзия и бабьи сказки, – все это благо ближнего. Мне нужно, чтобы наши дети не пошли по миру; мне надо устроить наше состояние, пока я жив; вот и все».

Пьер Безухов смотрит свысока на Николая Ростова, воображая, будто бы призван, посредством своих «умствований», «дать новое направление всему русскому обществу и всему миру». И Левин, подобно маленькому Иртеньеву, считает спасение человечества «удобоисполнимою вещью». Занимаясь устройством хозяйства, то есть тем же, в сущности, что Николай Ростов называет откровеннее «устройством своего состояния», Левин рассуждает: «Это дело не мое личное, а тут вопрос об общем благе. Все хозяйство, главное, положение всего народа, совершенно должно измениться. Вместо бедности – общее богатство, вместо вражды – согласие... Одним словом, революция бескровная, но величайшая революция, сначала в маленьком кругу нашего уезда, потом губернии, России, всего мира». А все-таки и Левин, и Пьер Безухов, хотя не говорят, но действуют и живут именно так, как говорит Николай Ростов. И в «Исповеди» Л. Толстой разоблачает с особенною толстовскою, ростовскою и левинскою откровенностью эту последнюю циническую тайну своих излюбленных героев:

«Вся жизнь моя сосредоточилась за это время в семье, в жене, в детях и потому в заботах об увеличении средств к жизни. Стремление к усовершенствованию подменилось уже прямо стремлением к тому, чтобы мне с семьей было как можно лучше».

Он даже уверяет, будто бы и «писательству предавался» в это время, то есть во время создания «Войны и мира» и «Анны Карениной», исключительно «как средству для улучшения своего материального положения», поучая тому, что для него «было единой истиной, – что надо жить так, чтобы самому с семьей было как можно лучше».

Возвращаясь домой с охоты или из кратких, невольных деловых поездок, рассказывает Берс, он каждый раз выражал свое волнение так: «Только бы дома все было благополучно!»

Это не мещанство; это неизмеримо глубже и первобытное; это вечный голос природы, неодолимое чутье жизни, которое заставляет зверя устраивать логово, птицу – гнездо и человека – зажигать огонь семейного очага.

«Я две недели женат, – пишет он Фету, – и счастлив, и новый, совсем новый человек. Теперь как писать? Теперь незримые, даже зримые усилия, и притом я в хозяйстве опять прямо по уши. И Соня со мной. Управляющего у нас нет, – она одна ведет контору и кассу. У меня и пчелы, и овцы, и новый сад, и винокурня».

Он хлопочет о покупке яснополянского и пензенского имения и 6000 десятин самарского имения, где устраивает конный завод; покупает около сотни башкирских маток и, рассчитывая на обилие молока, скрещивает их с рысистой, верховой, английской и другими породами. Старая яснополянская ключница рассказывает о страстном его увлечении особою породою свиней, необыкновенно жирных, голых, без щетины, на коротких ногах: «В особенности он любовался на своих свиней, которых держал до трехсот штук, сидевших парами в отдельных небольших хлевушках. Здесь граф не терпел ни малейшей грязи: каждый день я и мои помощницы должны были перемывать их всех, вытирать пол и стены хлевушек; тогда, проходя по свинятне утром, граф бывал очень доволен и громко приговаривал: „Какое хозяйство! какое хорошее хозяйство!“ Зато избави Бог, если он заметит хоть малейшую грязь: сейчас рассердится, раскричится. Граф был очень горячий барин».

Анна Сейрон, бывшая гувернанткой в доме Толстых, в заметках своих («Шесть лет в доме гр. Л. Н. Толстого», СПб., 1895), кажется, желающих быть ехидными, на самом деле довольно легкомысленных и плоских, говорит с насмешкою, что за этими знаменитыми поросятами «ухаживает, как за детьми». Шутка едва ли удачна. И что из того, ежели добрый хозяин находил время заботиться и о своих детях, окруженных, впрочем, как мы знаем, швейцарскими боннами, немками, англичанками, – и о своих поросятах? Тут нет высокого и низкого, благородного и презренного: тут, в хозяйстве, как в живом теле – все цельно и стройно, одно к одному, одно для другого – люди, животные, растения.

И пусть даже, подобно Левину, заботясь о своем темном и теплом логове, занимаясь своими поросятами, утешал он себя мыслью, будто бы заботится о благе человечества, и что это есть «революция бескровная, но величайшая, сначала в маленьком круге уезда, потом губернии, России, всего мира»; на самом деле он ведь только следовал глубокому и верному чутью животной жизни: и свиные хлевушки, и детская, и конный завод, и пчельник, и винокурня, и конторские книги Софьи Андреевны – все эти «незримые и зримые усилия» суть покорное воле природы свивание гнезда, благолепное *домостроительство*.

И прежде всего, тут великая и простая любовь к жизни, та вечно детская радость жизни, которая была и у Гёте. «Лев Николаевич, – рассказывает Берс, – ежедневно похвалит день за красоту его и часто прибавит», – уже совсем в духе «великого язычника»: «Как у Бога много богатств! У Него каждый день отличается чем-нибудь от другого».

«Чудесная жара, – пишет он Фету, – купанье, ягоды привели меня в любимое мною состояние умственной праздности. Я два месяца не пачкал рук чернилами и сердце мыслями. Давно я так не радовался на мир Божий, как нынешний год. Стою, разиня рот, люблюсь и боюсь дви-

нуться, чтобы не пропустить чего». И это – самые для него тяжкие, страшные годы, когда он думал о самоубийстве, замышлял «Исповедь».

Может быть, никогда не был он более естественным, похожим на себя, достойным кисти великого художника, таким, как создал его Бог, чем на башкирском празднике, о котором рассказывает Берс. Через Мухамед-Шаха Рамановича было объявлено, что граф Толстой устраивает у себя в самарском имении скачку на 50 верст. Заготовлены были призы: бык, лошадь, ружье, часы, халат и т. п. Выбрали ровную местность, опахали и измерили огромный круг в пять верст длиною и на нем расставили знаки. Для угощения были заготовлены бараны и даже одна лошадь. К назначенному дню съехалось несколько тысяч народу: уральские казаки и русские мужики, башкиры и киргизы со своими кочевками, кумысом, котлами и даже баранами. Дикая степь, покрытая ковылем, уставилась рядом кочевков и оживилась пестрою толпой. На коническом возвышении, называемом по-местному «шишка», были разостланы ковры и войлоки, и на них кружком расселись башкиры, с поджатыми под себя ногами. В середине круга из большого турсука молодой башкир разливал кумыс и подавал чашку по очереди сидевшим. Это шла круговая. Пир длился два дня, был весел, но вместе с тем важен и благопристроен, потому что Лев Николаевич умел «даже в толпе, – замечает Берс, – поселить уважение к благопристойности».

Какой незапамятно-древнею, пастушескою идиллией веет от этого праздника под степным небом, над волнами степного ковыля!

Еще и теперь в лице семидесятилетнего Толстого, в этом суровом и чувственном, почти грубом, мужичьем и все-таки нежно-одухотворенном лице, которое напрасно он сам и другие стараются сделать современным, смиренным, покаянным и бесплотным, узнаю я иную, не бесплотную, святость, благолепную величавость одного из древних патриархов, которые водили стада свои между колодцами пустыни и радовались потомству своему, более многочисленному, чем песок морской.

«Я предпринял большие дела, – говорит он в „Исповеди“ словами Екклезиаста, – построил себе дома, насадил себе виноградники; устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовые деревья; сделал себе водоемы для орошения из них рощ, произрастающих деревья; приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И сделался я великим и богатым. И мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья».

Однажды граф Соллогуб сказал Льву Николаевичу:

– Какой вы счастливец, дорогой мой! Судьба дала вам все, о чем только можно мечтать: прекрасную семью, милую, любящую жену, всемирную славу, здоровье – все.

В самом деле если не внутри, то извне, это – самая счастливая человеческая жизнь в наше время.

«Если бы пришла волшебница, – признается он сам, – и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать».

И вот, достигнув этой вершины возможного людям благополучия, он заглядывает в противоположную «вечернюю долину», как будто боги, наконец, позавидовав слишком счастливому смертному, напомнили ему, не потрясающим голосом беды или утраты, а тихим шепотом парки, что и над ним есть рок.

Он «будто жил-жил, шел-шел, и пришел к пропасти, и ясно увидел, что впереди ничего нет, кроме гибели». Понял, как царь Соломон, что все – суета и томление духа, и что мудрый умирает наравне с глупым.

«Я испытывал ужас перед тем, что ожидает меня: знал, что этот ужас ужаснее самого положения, но не мог терпеливо ожидать конца... Ужас тьмы был слишком велик и я хотел поскорее избавиться от него петлей или пулей».

Прежде чем говорить об этом последнем повороте жизни, перевале, с которого начинается спуск в «вечернюю долину», надо сказать о чувстве, которое всегда было в нем столь же сильно, как любовь к жизни, может быть, потому, что оно было только обратной стороной этой любви, – о страхе смерти.

## Третья глава

«Я жалею тех, кто придает большое значение смертности всего существующего и теряется в созерцании ничтожества всего земного: да мы ведь и живем именно для того, чтобы *преходящее делать непреходящим*, что может быть достигнуто лишь тогда, если мы сумеем оценить и то, и другое, то есть и смертное, и бессмертное». Это слова Гёте (Maximen und Reflexionen, II<sup>1</sup>).

В заключении «Фауста» говорит он о том же, почти теми же словами, еще короче и яснее:

Alles Vergängliche  
Ist nur ein Gleichniss.

2

«Все преходящее есть только подобие», – есть только образ, только символ. Мы должны *соединять* – Гёте говорит оценивать и то, и другое, *beides schätzen*, – должны соединять (*συνβαλλειν* – от которого произошло *Συμβολον* – символ – значит: сливать, спаивать, соединять), мы должны соединять смысл невечного с вечным, мы должны, не унижая преходящего, смертного, созерцать в нем и сквозь него бессмертное, непреходящее; мы не можем иначе достигнуть неземного, как поняв и полюбив земное до конца, до его последних пределов, не презирая, не ужасаясь ничтожеству земного; мы должны помнить, что нет у нас иных путей восхождения, иных ступеней к Богу, кроме «подобий», «явлений», «символов» – не бесплотных и не бескровных, а облеченных в самую живую плоть и кровь.

Ибо таинство нашего Бога не есть таинство только духа и слова, но также плоти и крови, ибо Слово наше стало Плоть. «Кто не ест Мою плоть и не пьет Мою кровь, тот не имеет жизни вечной». Итак, не без плоти, а через плоть к тому, что за плотью: тут величайший символ, величайшее соединение – о, сколь не многим еще доступное!

Это слово Гёте о святости всего земного, преходящего, о нетлении тленного – лучший ответ на отчаяние и ужас, на те слова Сакья-Муни и Екклезиаста о тленности всего сущего, о нирване, о суете сует, которые Л. Толстой приводит в «Исповеди» как самое глубокое выражение своего собственного отчаяния.

Не удивительно ли: древние эллины и новый эллин, Гёте, уж конечно, не менее любили землю, земные радости, чем царь Соломон и Лев Толстой. Но страх смерти не уничтожал для них смысла этих радостей – напротив: самая черная тьма и ужас бездны еще увеличивали прелесть жизни, подобно тому, как самый черный бархат увеличивает блеск алмазов. Они не отворачивались от этой тьмы, а как будто нарочно желали, искали ее, чтобы победить. Трагедия, дерзновеннейшее и глубочайшее созерцание всего, что только есть в человеческой судьбе наиболее темного и рокового, не случайно создана была в самую лучезарную пору эллинской жизни. Отчаяние Эдипа, не угадавшего загадки Сфинкса, беспредельнее отчаяния Сакья-Муни и царя Соломона. А между тем, именно здесь, в виду Парфенона, в самом радостном из всех когда-либо людьми воздвигнутых зданий, в театре бога вина и сладострастья, бога Диониса, самые счастливые из смертных наслаждались этим последним ужасом и отчаянием.

---

<sup>1</sup> Максимы и размышления (нем.).

<sup>2</sup> Все быстротечное – символ, сравнение (нем.) – пер. Б. Л. Пастернака.

«Не существует ли, – спрашивает Ницше, – особая склонность души ко всему жестокому, загадочному, что только есть в бытии, происходящая из жажды наслаждений, из бьющего через край здоровья, из *полноты* жизни? особая искушающая отвага самого острого взгляда, которая требует ужасного, как врага, как достойного врага, в борьбе с которым можно помериться силами?»

Трагедия воли – «Прометей», трагедия мысли – «Фауст» именно и были такими вызовами, полными «искушающей отваги», *versucherische Tapferkeit*, – страху смерти, тайне жизни. Только самые сильные из сильных, самые трезвые из трезвых могут безнаказанно испытывать это упоение ужасом, о котором говорит и Пушкин, сильнейший и разумнейший из русских людей:

Есть упоение в бою  
И бездны мрачной на краю,  
И в разъяренном океане,  
Средь грозных волн и бурной тьмы,  
И в аравийском урагане,  
И в дуновении чумы.  
Все, все, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы наслажденья.  
.....  
И так – хвала тебе, чума!  
Нам не страшна могилы тьма;  
Нас не смутит твое призванье!

Когда является чрезмерный страх этой «могильной» тьмы – слишком ясное и отрезвляющее сознание плотской тленности, ничтожества всего земного, – то это первый признак того, что именно божественные родники известной культуры уже истощены или отравлены, что сила жизни идет в ней на убыль.

По-видимому, отчаяние Софокла в «Эдипе» похоже на отчаяние Соломона в «Екклесиасте»; на самом деле это два противоположных полюса. Одно – подъем, другое – спуск; одно – начало, другое – конец. В «Лалитавистаре» Будды, в «Екклесиасте» Соломона слышится голос не воскресающего духа, а лишь умирающей плоти. В тоске пресыщенных эпикурейцев, в *taedium vitae*<sup>3</sup> римского упадка, в философском черепе среди роз и кубков пиршественной трапезы есть грубая, чуждая эллинскому духу и плоти, плотскость, старческий материализм обездушенной, обезбоженной культуры. Ведь самое чистое, совершенное христианство так же доверчиво к жизни, бесстрашно к смерти, так же умеет преходящее делать непреходящим, как совершенное эллинизм. Пусть лилии полевые завтра увянут и будут брошены в огонь, все-таки сегодня сыны царствия Божия радуются тому, что «и царь Соломон во славе своей не одевался так, как всякая из них». Улыбка Франциска Ассизского, поющего гимн солнцу, после крестных мук Альвернского видения, напоминает улыбку Софокла, поющего гимн богу вина и веселья, богу Дионису, после кровавых ужасов Эдиповой трагедии. И здесь и там – младенческая ясность, тишина последней мудрости. Только остановившиеся на полпути, уже не прежние, еще не будущие, отставшие от одного берега и не приставшие к другому, безысходно «теряются, по слову Гёте, в созерцании земного ничтожества». Чрезмерный страх смерти почти всегда служит показателем религиозного бессилия и религиозной бездарности.

---

<sup>3</sup> Отвращение к жизни, пресыщенность (*лат.*).

В «Детстве» Л. Толстой описывает впечатления ребенка от смерти матери. Он смотрит на нее, лежащую в гробу.

«Я не мог поверить, чтобы это было ее лицо. Я стал вглядываться в него пристальнее и мало-помалу стал узнавать в нем знакомые, милые черты. Я вздрогнул от ужаса, когда убедился, что это была она; но отчего закрытые глаза так впали? отчего эта страшная бледность и на одной щеке черноватое пятно под прозрачной кожей?»

«...Панихида кончилась; лицо покойницы было открыто, и все присутствующие, исключая нас, один за другим, стали подходить к гробу и прикладываться. Одна из последних подошла проститься с покойницей какая-то крестьянка с хорошенькою пятилетней девочкой на руках, которую, бог знает зачем, она принесла сюда. В это время я нечаянно уронил свой мокрый платок и хотел поднять его; но только что я нагнулся, меня поразил страшный пронзительный крик, исполненный такого ужаса, что, проживи я сто лет, я никогда его не забуду, и, когда вспомню, всегда пробежит холодная дрожь по моему телу. Я поднял голову – на табурете подле гроба стояла та же крестьянка и с трудом удерживала в руках девочку, которая, отмахиваясь ручонками, откинув назад испуганное личико и уставив выпученные глаза на лицо покойницы, кричала страшным, неистовым голосом. Я вскрикнул голосом, который, я думаю, был еще ужаснее того, который поразил меня, и выбежал из комнаты».

Можно сказать, что тот безумный крик никогда с тех пор не умолкал в произведениях Л. Толстого. Душу целого поколения заразил он своим ужасом. Если в наше время люди боятся смерти, с такой постыдной судорогой, какой еще никогда не бывало, если у всех нас, в глубине сердца, в крови и в плоти есть эта «холодная дрожь», до мозга костей пробирающий озноб, о котором Данте говорит по поводу грешников, замерзших в адском озере: «Тогда прошел по мне озноб, он и теперь по мне, как вспомню их, проходит», то, в значительной мере, мы этим всем обязаны Л. Толстому.

Он заимствовал, впрочем, рассказ о смерти матери Николая Иртеньева не из собственных воспоминаний: мать Льва Николаевича умерла, когда ему было года три; помнить ее не мог он и при смерти ее не присутствовал. По-видимому, однако, в рассказе героя «Детства» он изображает с такою ужасающею, почти циническою, отгалкивающей правдою страх смерти, врожденный в него, в такой мере ему одному свойственный, пробудившийся в нем с первыми проблесками сознания и с тех пор никогда его не покидавший.

Много лет спустя, уже в пору возмужалости, при полном свете сознания, находит он в душе своей тот же самый страх и так же перед ним беспомощен или даже еще более, чем в детстве.

Фету из Гиера, близ Ниццы, 17 октября 1860 года, пишет он о смерти брата Николая:

«20 сентября он скончался на моих руках, в буквальном смысле слова. Никогда в жизни ничто не производило на меня такого впечатления. Он был прав, когда говорил мне, что ничего нет хуже смерти, и если подумать, что в конце концов смерть есть неизбежный конец всего живущего, то приходится сознаться, что нет ничего хуже самой жизни. К чему все заботы, если в конце концов от того, чем был некогда Николай Николаевич Толстой, ничего не остается? Он никогда не говорил, что чувствует близость смерти, и, однако, я знаю, что он следил за нею шаг за шагом и прекрасно знал, сколько времени ему еще остается жить. За несколько минут до смерти он задремал. Вдруг он вскочил и с ужасом прошептал: „Что это?“ *Он увидел свой переход в ничто.* Но если и он не знал, за что удержаться, что же я найду? Конечно, еще меньше».

В этом письме, удивительном и ужасном своей искренностью, более всего поражает простодушный бессознательный и до последней, цинической грубости обнаженный материализм, бездушная плотскость. Никакого колебания, никакого возможного вопроса и сомнения в том, что смерть есть «переход в ничто», – даже никакой тайны. Ужас безысходный, бесплодный, бессмысленно уничтожающий, иссушающий самые родники жизни. Это как еретики-жидовствующие, русские нигилисты XV века, говаривали: «А что то царство небесное? А что то вто-

рое пришествие? А что то воскресение мертвых? Ничего того несть. Умер кто – ин по та места и был». Или, как выражается дядя Ерощка: «Умру – трава вырастет». Глухая стена, русская «глухая нетовщина».

Через двадцать пять лет, уже долго спустя после своего христианского обращения, выразил он это же самое чувство животного, бессмысленного ужаса в «Смерти Ивана Ильича»:

«Он... оставался опять один с нею. С глазу на глаз с *нею*;... а делать с *нею* нечего. Только смотреть на *нее* и холодеть».

Мы знаем, что в течение всей своей жизни, во многих случаях действительной опасности, Л. Толстой отличался мужеством телесным, даже отвагою. Ему был почти приятен свист пуль на страшном четвертом бастионе в Севастополе: он наслаждался тем, что побеждал страх смерти силою жизни. Всего менее думал он также о смерти, когда однажды, в Пятигорской станице, в упор стрелял в бешеного волка, или когда на охоте лежал под медведицею, которая едва не смяла его и не содрала ему кожу с черепа, так что «над глазами лохмотьями висело мясо», и на снегу было столько крови, «точно барана зарезали», а он, поднявшись из-под зверя, забыв раны, не чувствуя боли, только весь трясся и кричал в охотничьей ярости, тоже сильно напоминающей дядю Ерощку: «Где медведь? куда ушел?»

Нет, страх смерти происходит в нем вовсе не из телесной робости: этот страх, иногда, может быть, доходящий до трусости, – более внутренний, глубокий и, в первом источнике своем, несмотря на всю животность, все-таки отвлеченный, – так сказать, метафизический.

И тем больше пугают эти внезапные черные провалы, что они встречаются в душе его и в произведениях рядом с величайшею любовью к жизни: это как будто те обманчивые болотные *окна*, которые сверху покрыты самою зеленою, свежую травую, самыми яркими цветами и манят издали путника, но только что нога его ступает на них, он проваливается, и тина засасывает его.

Что же это за чуть видимый волосок, от которого все колеса машины вдруг соскакивают с осей, и гармония превращается в хаос? Откуда эта капля яда, которая отравляет ему душу, так что сладчайший мед жизни становится полынью?

Вспоминая свои ребяческие «умствования», уничтожившие в нем, как он выразился, «свежесть чувства и ясность рассудка», уже и тогда приводившие его к болезненному страху смерти, вследствие которого он то в буддийском покаянии стегал себя по голой спине веревкою, то, в Соломоновской безнадежности, бросая уроки, ел пряники с кроновским медом, – причину этих умствований находит он сам в «неестественно развившемся сознании». Действительно, исследуя внутреннюю жизнь Л. Толстого на всем ее протяжении, нельзя не прийти к выводу, что между сознательной и бессознательной стороной его духовного развития существует несоответствие, неравновесие. Едва ли, однако, это несоответствие заключается именно в чрезмерной силе сознания. Мы, по крайней мере, имели случай наблюдать, что и гораздо большая сила сознания, чем у Л. Толстого, например, у Гёте, гармонического строя душевной и умственной жизни вовсе не нарушала, скорее даже увеличивала. Нет, не в чрезмерности сознания заключается одна из важнейших причин надломленности, болезненности в нравственном и религиозном развитии Л. Толстого, а, напротив, – в недостатке, в незавершенности сознания. Оно у него чрезвычайно острое или, во всяком случае, изошренное, напряженное, но не всеобъемлющее, не всепроникающее. Оно светит ярко, но не изнутри, как солнце из-за прозрачного воздуха, насквозь пронизанного им, а извне, как маяк светит на темную поверхность моря. Сколь ни ярки и ни длинны лучи этого маяка-сознания, бессознательная стихийная жизнь в нем так бездонно-глубока, что все-таки остается в ней последний, как бы подводный мрак, ни для каких лучей непроницаемый. А главное то, что его сознание развивалось не только извне, отдельно, не только в другом, но и в совершенно противоположном направлении, чем его бессознательная жизнь, так что всегда в нем было как будто два человека, и всегда один из них желал желать того, чего другой не желал. Это внутреннее разногласие, раздвоение

– подобно сначала едва видимой, но мало-помалу углубляющейся трещине колокола, которая дает ложный звук: чем громче, могущественнее гул колокола, тем назойливый, дребезжащий звук все мучительнее, все болезненнее.

Припадок страха смерти, который в конце семидесятых годов едва не довел его до самоубийства, как мы уже знаем, был не первым и, кажется, не последним, во всяком случае – не единственным. Нечто подобное испытал он пятнадцать лет назад при смерти брата Николая. Тогда он чувствовал себя больным и предполагал в себе ту же болезнь, от которой умер брат, – чахотку. В груди и в боку была постоянная боль. Он должен был уехать лечиться в степь на кумыс и, действительно, вылезился.

Прежде эти обычные припадки душевного или телесного недуга залечивались в нем не какими-либо умственными или нравственными переворотами, а просто силою жизни, ее избытком и опьянением. Оленин, при мысли о смерти, так же, как Лев Толстой под севастопольскими ядрами, сознает в себе «присутствие всемогущего бога молодости».

Почему же именно этот переворот конца семидесятых годов имел для него такое решающее, как будто единственное значение? Сам он объясняет это причинами духовными. Но не было ли и здесь так же, как в прежних переворотах, и причин телесных? Не было ли особого чувства, свойственного людям в предстарческие годы, когда они ощущают всем своим не только духовным, но и плотским составом, что до сих пор шли в гору, а теперь начинают спускаться под гору?

«Пришло время, – говорит он в „Исповеди“ об этом именно времени своей жизни, о начале своих шестидесятых годов, – когда рост во мне прекратился, я почувствовал, что не развиваюсь, а ссыхаюсь, мускулы мои слабеют, зубы падают».

Тут слышится глубоко плотская, почти анакреоновская жалоба, хотя без анакреоновской ярости:

Поредели, побелели  
Кудри – честь главы моей,  
В деснах зубы ослабели  
И потух огонь очей.

Точно так же Левин ночью, один в номере скверной гостиницы, где умирает брат его Николай, – смерть Николая Левина весьма напоминает смерть Николая Толстого, – охваченный этим ощущением приближающейся старости, этим животным ужасом, подобным ознобу, пробирающему до мозга костей, вдруг понимает всем телесным составом, «что все кончится, что – смерть».

«Он зажег свечу и осторожно встал и пошел к зеркалу и стал смотреть свое лицо и волосы... Да, в висках были седые волосы. Он открыл рот. Зубы задние начинали портиться. Он обнажил свои мускулистые руки. Да, силы много. Но и у Николеньки, который там дышит остатками легких, тоже здоровое тело».

«Что такое значит: идет жизнь? – пишет Л. Толстой в 1894 году, – идет жизнь значит: волосы падают, зубы портятся, морщины, запах изо рта. Даже прежде, чем все кончится, все становится ужасным, отвратительным, видны размазанные румяна, белила, пот, вонь, безобразия. Где же то, чему я служил? Где же красота? А она – все. А нет ее – ничего нет. Нет жизни».

В том же письме от 1881 года, в котором гр. Софья Андреевна уверяет брата, что Лев Николаевич совершенно изменился, «стал христианин самый искренний и твердый», она также сообщает, что он «поседел, *ослаб здоровьем* и стал тише, унылее, чем был».

В высшей степени замечательна эта сквозь всю его жизнь проходящая связь духовных переворотов с прибылью и убылью, приливами и отливами телесного здоровья, силы – седеющими волосами, морщинами, испорченными зубами, запахом изо рта, ссохшимися мускулами.

Отлетел «всемогущий бог молодости». Исчезло опьянение жизнью. «Можно жить, – признается он, – только покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это – только обман, и глупый обман. Не нынче – завтра придут болезни, смерть на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей».

Разногласие, раздвоение его сознательной и бессознательной жизни, эта сперва чуть заметная трещина, постепенно углубляясь, превратилась, наконец, в ту зияющую «пропасть», о которой он говорит в «Исповеди», и дойдя до которой, он «ясно увидел, что впереди ничего нет, кроме погибели».

«И что было хуже всего – это то, что *она*, смерть, отвлекла его (Ивана Ильича) к себе не за тем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучился». И он оставался «один с нею. С глазу на глаз с *нею*, а делать с *нею* нечего. Только смотреть на нее и холодеть».

«И, спасаясь от этого состояния, он искал утешения, других ширм, и другие ширмы являлись и на короткое время спасали его, но тотчас же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто *она* проникала чрез все, и ничто не могло заслонить ее».

Тогда наступил тот последний ужас, который был так велик, что «он хотел поскорее избавиться от него петлей или пулей».

Тертуллиан утверждает, что человеческая душа «по своей природе – христианка». Но все ли души христианки? Не рождаются ли некоторые из них язычницами? Кажется, именно у Л. Толстого такая душа – «урожденная язычница».

Если бы глубина его сознания соответствовала глубине его стихийной жизни, он понял бы, наконец, что ему нечего бояться и стыдиться своей души-язычницы, что она дана ему Богом, и своего Бога, свою веру нашел бы в бесстрашной, бесконечной любви к себе так же, как люди с душами, по природе своей – христианками, находят своего Бога в бесконечном самопожертвовании и самоотречении.

Но вследствие глубокого несоответствия, неравновесия между его сознанием и бессознательной стихией, ему оставалось одно из двух: или подчинить свое сознание своей стихии, что он и делал в первой половине жизни; или, наоборот, свою стихию – своему сознанию, что он попытался сделать во второй половине жизни; и в последнем случае он должен был неминуемо прийти к выводу, что всякая любовь к себе, всякая жизнь и развитие обособленной личности есть нечто плотское, животное, а следовательно, преступное, злое, бесовское, то, чему не следует быть, и уничтожение чего есть высшее, единственное благо. Действительно, он и дошел до этого вывода, решил до конца возненавидеть и погубить душу свою, чтобы спасти ее. Когда он писал «Исповедь», ему казалось, что он уже этого окончательно достиг, что он открыл совершенную истину и что больше искать нечего. В заключительных страницах обличает он и судит уже не себя, а только других, называет всю человеческую культуру «баловством», людей, принадлежащих к ней, – «паразитами». Он прямо говорит: «Я возненавидел себя... теперь мне все ясно стало».

Но через три-четыре года после «Исповеди» это «ясное» мало-помалу снова замутилось и запуталось.

Уже в 1882 году, во время московской переписи и после осмотра Ляпинского ночлежного дома, когда убеждал он знакомых своих, богатых людей, соединиться, чтобы посредством частной христианской благотворительности спасти сначала Москву, потом Россию, наконец, все человечество, – совесть его была не спокойна. Напряженность, неуверенность, дребезжащий ложный звук надтреснутого колокола слышится в этом призыве, столь не простом, написанном на столь не свойственном Льву Толстому языке, напоминающем слог растопчинских афиш двенадцатого года: «Давайте мы по-дурачки, по-мужицки, по-крестьянски, по-христиански налегнем народом – не поднимем ли? Дружной, братцы, разом!»

Когда, собирая деньги для бедных, излагал он в знакомых домах свой новый план спасения мира, ему казалось, что слушателям становится неловко: «Им было как будто совестно, и преимущественно за меня, за то, что я говорю глупости, но такие глупости, про которые никак нельзя прямо сказать, что это глупости. Как будто какая-то внешняя причина обязывала слушателей потакать этой моей глупости». И после речи в Думе, разговаривая с руководителями переписи, опять почувствовал он, что они говорили ему взглядами: «Ведь вот смазали, из уважения к тебе, твою глупость, а ты опять с ней лезешь!»

Наконец величайшая и новая, как он полагал, истина о том, что частная благотворительность – вздор, открылась ему из самого простого арифметического расчета. Однажды вечером, в субботу, плотник Семен, с которым Лев Николаевич пилил дрова, подходя к Дорогомиловскому мосту, подал старику-нищему три копейки и «спросил две копейки сдачи. Старик показал на руке две трехкопеечные и одну копейку. Семен посмотрел, хотел взять копейку, но потом раздумал, снял шапку, перекрестился и прошел, оставив старику три копейки».

У Семена, как известно было Льву Николаевичу, сбережение равнялось 6 рублям 50 копейкам, а у него, Льва Николаевича, 600 тысяч рублей. «Семен, – подумал он, – дал 3 копейки, я дал 20. Что же дал он и что я? Что бы я должен был дать, чтобы сделать то, что сделал Семен? У него было 600 копеек, он дал из них одну и потом еще две. У меня было 600 тысяч. Чтоб дать то, что Семен, мне надо дать 3000 рублей и просить 2000 сдачи, и если бы не было сдачи, оставить и эти две тысячи старику, перекреститься и пойти дальше, спокойно разговаривая о том, как живут на фабриках и почему печенка на Смоленском».

Нельзя было не сделать последнего потрясающего вывода из этого расчета:

«Я дам 100 тысяч и все не стану в то положение, в котором можно делать добро, потому что у меня еще останутся 500 тысяч. Только когда у меня *ничего не будет*, я в состоянии делать хоть маленькое добро... То, что с первого раза сказалось мне при виде голодных и холодных у Ляпинского дома, именно то, что я виноват в этом, и что так жить, как я жил, нельзя, нельзя, и нельзя, – это одно была правда».

Все здание, воздвигнутое с такою мукою, с таким отчаянным напряжением сил, сразу обвалилось, рухнуло – и снова пришлось ему обличать себя и всенародно каяться:

«Я весь расслабленный, ни на что не годный паразит... И я, та вошь, пожирающая лист дерева, хочу помогать росту и здоровью этого дерева и хочу лечить его».

Только теперь, казалось ему, понял он слово Христа: тот, кто не оставит всего – и дома, и детей, и полей – для того, чтобы идти за Ним, тот не Его ученик.

И новый переворот, новое перерождение совершилось в нем.

Ему стало ясно, что он не только не «возненавидел себя» и не нашел истины, как думал, когда писал «Исповедь», но и не начинал ее искать. И вместе с тем он уверился, что на этот раз уже окончательно и навсегда все стало для него ясным и осуществление новой истины казалось ему простым: «Стоит только человеку не желать иметь земли и денег», чтобы войти в Царствие Божие. Он убедился, что зло, от которого мир погибает, – собственность – «не есть закон судьбы, воля Бога или историческая необходимость, а есть суеверие, несколько не сильное и не страшное, а слабое и ничтожное», и что освободиться от этого суеверия, разрушить его так же легко, как «разрушить слабую паутину».

И он решил исполнить заповедь Христа, покинуть все – и дом, и детей, и поля, раздать свои 600 тысяч и сделаться нищим, чтобы иметь право делать добро.

## Четвертая глава

«Многие подумают, – замечает в своих „Воспоминаниях“ брат графини Софьи Андреевны Толстой, – что я умолчал, конечно, о том, что было бы не в пользу Льва Николаевича. Но

это предположение не верно, потому что даже нет ничего такого, что приходилось бы скрывать от посторонних».

Вот смелые слова. Мы ведь знаем, что у величайших святых и подвижников были минуты падения и слабости. У самого верного из учеников Господних было на душе предательство. Но, впрочем, г. Берсу и книги в руки; он пишет не жизнь, а житие.

Удивительнее подобное признание в устах самого Л. Толстого, который, по свидетельству слышавшего, часто говорит в последнее время: «У меня ни от кого на свете нет никаких тайн! Пусть все знают, что я делаю!»

Слова необычайные. Кто же этот, дерзнувший сказать: «Я ничего не стыжусь»? Человек ли, бесконечно презирающий людей, или в самом деле святой?

Бывают в жизни каждого человека минуты особого значения, которые соединяют и обнаруживают весь смысл его жизни, определяют раз навсегда, кто он и чего стоит, дают как бы внутренний разрез всей его личности до последних глубин ее сознательного и бессознательного, – минуты, когда вся дальнейшая судьба человека, решаясь, как бы колеблется на острие меча, готовая упасть в ту или в другую сторону.

Такой именно минутой в жизни Л. Толстого было решение раздать имущество. Но вот – не странно ли? Вплоть до этой минуты мы имеем самые подробные дневники его, исповеди, покаяния, признания, которые позволяют следить за каждым движением его сознания и совести. Но тут они вдруг изменяют нам, обрываются. Он, который столько говорил о себе, вдруг умолкает и – навсегда. Конечно, мы не нуждались бы ни в каких признаниях, если бы уже не слова, а дела его говорили о нем с достаточной ясностью. Но именно внешняя жизнь его, дела еще более, чем слова, оставляют нас в недоумении. Что же касается внутренней стороны его жизни, о ней мы узнаем только из намеков, из немногих, как бы нечаянно вырвавшихся у него и подслушанных, но едва ли понятых свидетелями слов, или из их собственных поверхностных рассказов, узнаем нечто столь неожиданное и противоречивое, что наше недоумение увеличивается.

«Об отношении к своему состоянию, – сообщает Берс, – Лев Николаевич говорил мне, что он хотел избавиться от него, как от зла, которое тяготило его при его убеждениях; но он поступал сначала неправильно, желая перенести это зло на другого, то есть *непременно раздать его*, и этим породил другое зло, а именно – *энергический протест и большое неудовольствие своей жены*. Вследствие этого протеста он предлагал ей перевести все состояние на ее имя, и когда она отказалась, он то же, и безуспешно, предлагал своим детям».

Однажды, рассказывает другой свидетель (г. Сергеенко «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой»), встретил он на улице одного знакомого и разговорился с ним. «Оказалось, что тот живет холостяком, обедает, где ему нравится, и может во всякое время уединиться в Москве, как на необитаемом острове». Рассказав об этой встрече, Лев Николаевич добавил с улыбкою:

– И так я позавидовал ему, что даже совестно сказать. Подумайте только: человек может, *как ему угодно*, жить, не причиняя никому страданий. Право же, это – счастье!

Что это? Что за шутка? Что за «улыбка»? И какая недосказанная горечь в ней?

А вот еще более странное, даже как будто жуткое признание:

«Друга я себе буду искать между мужчинами. И никакая женщина не может заменить мне друга. Зачем же мы лжем нашим женам, что мы считаем их нашими истинными друзьями? Ведь это не правда же?»

Неужели и это говорил он с улыбкою? И это шутка? Счастливейший семьянин, подобие в современной жизни древнебиблейских патриархов, Авраама, Исаака и Иакова, проживший со своею супругою тридцать семь лет душа в душу, вдруг, в конце жизни, завидует свободе холостяка, как будто собственная семейная жизнь его – тайное рабство, и дает понять почти чужому человеку, что он не считает жену свою достойной имени друга.

И тот же самый свидетель, который только что прославлял семейное счастье Л. Толстого, тут же, подходя, с легким сердцем, с невозмутимой ясностью, замечает: «В мировоззрениях своих они (Лев Николаевич и Софья Андреевна), однако, расходятся». Но ведь «мировоззрения» – это самое святое, что есть у него. И если расходятся они в этом, то в чем же сходятся? Разве можно отделяться от этого шуткою?

Еще, однако, поразительнее то, что сообщает Берс о чувствах «переродившегося» Л. Толстого к жене:

«Теперь к жене своей Лев Николаевич относится с оттенком требовательности, упрека и даже неудовольствия, обвиняя ее в том, что она препятствует ему раздать состояние и продолжает воспитывать детей в прежнем духе. Жена его, в свою очередь, считает себя правою и сетует на такое отношение к ней мужа. В ней поневоле развились страх и отвращение к учению (толстовскому), последствиям его. Между ними даже установился тон взаимного противоречия, в котором слышатся жалобы друг на друга. Раздать состояние чужим людям и пустить детей по миру, когда никто не хочет исполнять того же, она не только не находит возможным, но и считала своим долгом воспрепятствовать этому, как мать. Высказав мне это, она со слезами на глазах прибавила:

– Мне теперь трудно, я все должна делать одна, тогда как прежде была только помощницей. Состояние и воспитание детей – все на моих руках. Меня же обвиняют за то, что я делаю это и не иду просить милостыни! Неужели я не пошла бы с ним, если б у меня не было малых детей? А он все забыл для своего учения.

И, наконец, последнее, уже самое невероятное признание:

«Жена Льва Николаевича, чтобы сохранить состояние для детей, *готова была просить власти об учреждении опеки над его имуществом*».

Опека, учреждаемая гр. Софьей Андреевной над Л. Толстым! Да ведь это трагедия, может быть, величайшая в современной русской, и уж во всяком случае – в его жизни. Это и есть то острие меча, на котором вся судьба человеческая, решаясь, колеблется. И мы об этом узнаем от случайных наблюдателей, от празднolibопытствующих. И это ужасное происходит в самом темном, тайном углу его жизни, глухо и немо. Ни слова от него самого, который всю жизнь только и делал, что исповедовался, который и теперь утверждает, что ему нечего скрывать от людей.

Как же он, однако, вышел из этой трагедии? Или почувствовал, что опять ошибся в действительных размерах сил своих, что казавшееся легким и простым – на самом деле бесконечно трудно и сложно, и что «суеверие собственности» – не «слабая паутина», а самая тяжкая из житейских цепей, последнее звено которой в сердце, в плоти и в крови человека, так что вырвать его из сердца можно только с плотью и кровью. Понял ли он великое и страшное слово Учителя: враги человеку домашние его?

Мы знаем, как поступали в таких же точно случаях христианские подвижники прошлых веков. Когда Пьетро Бернардоне, отец св. Франциска Ассизского, подал епископу жалобу, обвиняя сына в том, что он расточает имение, хочет раздать его бедным, Франциск, сняв с себя одежду до последней рубашки, сложил платье вместе с деньгами к ногам отца и сказал: «До сей поры называл я Пьетро Бернардоне отцом моим, но теперь, желая послужить Богу, возвращаю этому человеку все, что я взял от него, и отныне буду говорить: не отец мой Пьетро Бернардоне, а Господь, небесный мой Отец». И совершенно голым, каким вышел из утробы матери, прибавляет легенда, бросился Франциск в объятия Христа.

Так же поступил любимый русским народом угодник, Алексей, Божий человек, тайно бежавший из родительского дома. Так и донныне поступают все русские подвижники, пожелавшие исполнить заповедь Христа: кто не покинет и дома, и полей, и детей во имя Мое, тот не достоин Меня.

Роздал Влас свое имение,  
Сам остался бос и гол  
И собирать на построение  
Храма Божьего пошел...  
Сила вся души великая  
В дело Божие ушла.

.....  
С той поры мужик скитается  
Вот уж скоро тридцать лет,  
Подаянием питается,  
Строго держит свой обет.

Так вот что должно было совершиться: великий писатель русской земли должен был сделаться подвижником русского народа – явление небывалое, единственное в нашей культуре – снова найденный религиозный путь через бездну, вырытую петровским преобразованием между нами и народом.

Недаром взоры людей с такою жадностью устремлены на него – не только на все, что он пишет, но еще гораздо больше на все, что он делает, на самую частную, внутреннюю, семейную и домашнюю жизнь его. Нет, тут не одно праздное любопытство. Тут слишком важное для всех нас, для всего будущего русской культуры. Тут уже никакое опасение быть нескромным не должно нас удерживать. Не сам ли он сказал: «у меня нет никаких тайн ни от кого на свете – пусть все знают, что я делаю».

Что же он делает?

«Не желая противиться жене насилем, – говорит Берс, – он стал относиться к своей собственности так, как будто ее не существует, и отказался от своего состояния, стал игнорировать его судьбу и перестал им пользоваться, *если не считать того, что он живет под кровлею яснополянского дома*». Как же, однако, «если не считать»? Что это значит? Он исполнил заповедь Христа: покинул и дом, и поля, и детей – «если не считать того», что по-прежнему остался с ними? Он сделался нищим, бездомным, роздал свое имение, если не считать того, что согласился, из боязни огорчить жену, сохранить свое имение? И о каком тут «зле», о каком «насилии над женою» идет речь? Конечно, Христос насилия не проповедовал. Он не требовал, чтобы человек отнимал имение у жены и детей, чтобы раздать его бедным, но он действительно требовал – и как точно, как ясно, – чтобы, если нельзя человеку освободиться иначе от собственности, он покинул вместе со своими полями, домом, имением и жену, и детей, взял крест свой и шел за Ним, чтобы он, по крайней мере, понял до конца это слово: враги человеку домашние его.

Но ведь это свыше сил человеческих, это – восстание на собственную плоть и кровь? А разве все учение Христа, по крайней мере, понятое с одной стороны, именно так, как понимает его и Толстой, не есть восстание на собственную плоть и кровь? Господь и не считал это легким, не говорил, что отречься от собственности значит разрушить «слабую паутину». Он предвидел, что это – самая тяжелая цепь для человека, последнее звено которой можно вырвать из сердца только с плотью и кровью, что нельзя освободиться от нее иначе, как расторгнув самые живые, любовные, кровные человеческие связи, покинув вместе с имуществом и отца, и мать, и жену, и детей. Вот почему сказал Он с такой бесконечно грустной и бесконечно милосердной усмешкой: истинно, истинно говорю вам, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в царствие Божие.

Так Он сказал. Что же говорит Л. Толстой? Но он молчит, как будто дела его говорят за него, или как будто тут никакого противоречия нет, никакой трагедии нет, как будто все для него по-прежнему легко, ясно и просто. Только странная легенда, житие этого современного

святого отвечает за него: «он старается закрывать глаза и весь уходит в исполнение своей программы жизни. Он не хочет видеть денег, по возможности избегает даже брать их в руки и никогда не носит при себе» (Анна Сейрон). И ему настолько удалось примирить волю жены с волею Бога, что «в последнее время, – замечает Берс, – Софья Андреевна стала относиться спокойнее к учению своего мужа – она свыклась». Так вот новый способ, оставаясь верблюдом, проходить сквозь игольное ушко – «не брать денег в руки», «не носить их при себе» и «закрывать глаза».

Полно, не ирония ли это, не самая ли злая насмешка над ним, над нами и над учением Христа? И ежели это имеет какой-нибудь смысл перед судом человеческим, то перед Божиим судом, что же, наконец, исполнил ли он заповедь Христа или не исполнил, роздал ли имение или не роздал? Тут не может быть двух ответов, не может быть середины, тут одно: или да, или нет.

Мы не знаем, что он сам об этом думает и что чувствует, не видим внутренней стороны его жизни, зато внешнюю знаем до последней подробности: благодаря рысьим глазам бесчисленных газетных вестовщиков, стены дома его сделались прозрачными, как бы стеклянными. Мы видим, как он ест, пьет, спит, одевается, работает, тачает сапоги и читает книги. Может быть, мелочи эти, иногда столь знаменательные, дадут нам ключ к тайнику его совести? – Но вот, по мере того, как мы наблюдаем, вникаем, наше смущение не только не проходит, а еще усиливается.

С особенною тщательностью свидетели описывают довольство и обилие, до края полную хозяйственную чашу, или, как один из них выражается, – «выдержанность и солидность старинного барства» в доме Толстых. Мы видим этот небольшой двухэтажный, в Долго-Хамовническом переулке, особняк, который зимнею ночью издали светится окнами между белыми, опущенными инеем, деревьями старинного сада. Внутри все дышит приветливой, уютной веселостью и «неуловимую благородною простотою»: широкая лестница, высокие, светлые, немного пустынные залы, лишённые всяких ненужных украшений, старинная гладкая мебель красного дерева и «учтивый лакей» во фраке, в белом галстуке, встречающий посетителей, о котором мы должны помнить, что Лев Николаевич не пользуется его услугами, так как сам убирает свою комнату, даже возит воду в бочке, не на лошади, а на себе. Кабинет «напоминает простотою кабинет Паскаля». Это небольшая низкая комната с тянущейся под потолком железною трубою. «Когда в начале 80-х годов, – сообщает Сергеенко, – шла перестройка всего дома, то Лев Николаевич не хотел отдавать свой кабинет в жертву богу роскоши, уверяя графиню, что многие полезнейшие деятели живут и работают в несравненно худших помещениях, чем он». Но едва ли не с большим правом мог бы он сказать, что немногие «деятели» живут и работают в лучших комнатах, чем он. В ней нет ничего лишнего – ни картин, ни ковров, ни безделушек. Но опытные работники знают, что все ненужное только развлекает, мешает сосредоточению мысли. Железная труба под потолком кажется некрасивою. Но она устроена для него нарочно, по требованиям новейшей гигиены, одним из его знакомых: «особенность ее заключается в том, что она, при помощи одной лампы, отлично вентилирует и отчасти согревает рабочий кабинет». Всегда чистый воздух, равномерное тепло. Чего же лучше? Но главное достоинство этой комнаты – тишина. После перестройки дома оставшийся неприкосновенным кабинет Льва Николаевича очутился «как бы между небом и землею». Это испортило боковой фасад дома. «Зато в отношении тишины и спокойствия кабинет только выиграл». Окна выходят в сад. Ни один звук не долетает с улицы. Отдаленное от жилых покоев убежище это «всегда полно тишины, располагающей к размышлению». Только те, кто всю жизнь проводит в созерцании, умеют ценить по достоинству величайшее удобство комнаты – ее совершенное уединение и спокойствие, ненарушимое, надежное безмолвие. За это можно отдать все. Это – блаженство и глубокая нега, единственная и незаменимая роскошь мыслителей. И как она редко, как трудно достижима в современных больших городах. В сравнении с этой истинной

роскошью, какими варварскими кажутся мещанские затеи нашего изнеженного и в самой изнеженности огрубелого, на американский лад одичалого вкуса.

Еще приятнее, еще безмолвнее рабочая комната Льва Николаевича в яснополянском доме, в затишье старинного парка с аллеями вековых берез и лип, в заповедном дворянском гнезде, одном из прелестнейших уголков средней России. Комната эта, с некрашеным полом, сводчатым потолком и толстыми стенами, прежде была кладовой. В самые знойные летние дни здесь «прохладно, как в погребе». Различные инструменты – лопата, коса, пила, щипцы, напилки – придают убранству наивную, напоминающую детство, свежую прелесть робинзоновского жилища. Эти два рабочих кабинета – зимний и летний – настоящие тихие, роскошно-простые кельи современного ученика Эпикура, умеющего, как никто, извлекать из телесной и духовной жизни самые чистые, невинные, никогда не изменяющие радости.

И все в доме, по мере сил и возможности, соответствует благородному, утонченному вкусу хозяина, его любви к *роскошной простоте*. Гр. Софья Андреевна заботится, чтобы никакая житейская мелочь не оскорбляла его, не тревожила. «Все сложное и хлопотливое дело по хозяйству и по управлению делами находится на ее попечении. Помощников у нее нет». А между тем величайший порядок царствует в доме. Кучер Толстых недаром говорил Сергеенке, что графиня «страсть как порядок любит». «Она неутомима и всюду вносит свою живую энергию, домовитость и распорядительность. Стоит ей уехать по делам на день, на два из Ясной Поляны, и сложная машина, называемая „домом“, уже начнет поскрипывать и давать перебои. Она превосходная хозяйка, внимательная, обходительная, хлебосольная. Естся и спится в Ясной Поляне как дома».

За всегда обильным, умеренно простым и вместе с тем роскошным столом Льву Николаевичу подаются особые растительные блюда. Вегетарианство доставляет графине множество хлопот: «она относится к нему отрицательно и только терпит его в доме, как своего рода крест» – так оно трудно и сложно. Но не ропщет, сама иногда следит на кухне за приготовлением новых блюд, и достигла, наконец, того, что растительный стол в Ясной Поляне так же вкусен, питателен и даже почти так же разнообразен, как мясной. Лев Николаевич, может быть, никогда не узнает, чего ей это стоило, и что такие растительные блюда, какие он имеет, при всей простоте своей, на самом деле, *роскошнее*, изысканнее мясных, потому что требуют гораздо большей изобретательности, нового творческого искусства, любовного внимания и терпения хозяйки. И уж, конечно, если бы он, подобно дяде Власу, ходил по большим дорогам или, как это он советовал старшему сыну, нанялся бы в батраки к мужику, ему не удалось бы с такою точностью соблюдать вегетарианский пост, может быть, даже пришлось бы поневоле есть запретную «убоину», какую-нибудь селедку или печенку со Смоленского. Зато теперь жидкая овсяная похлебка, которую он любит, едва ли не вкуснее самых дорогих и сложных супов, приготовляемых тысячными поварами; ячменный кофе с миндальным молоком если не так душист, как чистый мокко, зато насколько здоровее. К тому же, телесная усталость, голод и жажда – лучшие приправы блюд: он помнит воду в бруснице, которой после косьбы старый крестьянин угостил однажды Левина.

«Ну-ка, кваску моего! А, хорош! – говорил мужик, подмигивая.

И действительно, Левин никогда не пивал такого напитка, как эта теплая вода с плавающей зеленью и ржавым от жестяной брусницы вкусом... Старик накрошил в чашку хлеба, размял его стеблем ложки, налил воды из брусницы, еще разрезал хлеба и, посыпав солью, стал на восток молиться.

– Ну-ка, барин, моей тюрки...

Тюрка была так вкусна, что Левин раздумал ехать домой обедать».

Вот кто умеет есть и пить. Пресыщенным гостям Тримальхиона или современным гастрономам не снились такие наслаждения, которые всегда испытывает этот совершенный эпикурец.

Одежда его так же проста, как пища, и насколько приятнее, роскошнее нашего некрасивого, унижительно стесняющего тело, не русского, презираемого народом и в сущности угрюмо аскетического платья. Лев Николаевич носит зимою серые фланелевые, очень мягкие и теплые – а летом свободные, прохладные блузы своеобразного покроя. И никто не умеет их шить так, чтобы они сидели на нем удобно и просторно – по всей вероятности, искуснейшие портные Парижа и Лондона не угодили бы ему – никто, кроме старухи Варвары из яснополянской деревни, да, может быть, еще Софьи Андреевны. Верхнее платье – кафтаны, тулупы, полушубки, баранья шапка, высокие кожаные сапоги – тоже все не случайного, а глубоко обдуманного покроя, припоровленного к ведру и ненастью. Они так удобны и приятны, что ими часто, соблазняясь, пользуются гости и домашние. Это настоящая одежда сельского, и притом северного, эпикурейца.

И в этой одежде свойственно ему даже некоторое особое, неожиданное щегольство. В юности огорчался он тем, что лицо у него «совсем как у простого мужика». Теперь он этим хвастает. Он любит рассказывать, как на улицах и в незнакомых домах принимают его за настоящего мужика или даже за бродягу.

– Значит, аристократизм, – заключает он, – не написан на лице!

Однажды Пьер Безухов, тоже нарядившись в мужицкое платье, с ребяческой гордостью залюбовался на свои босые ноги, «с удовольствием переставлял их в различные положения, пошевеливая грязными, толстыми, большими пальцами. И всякий раз, как он взглядывал на свои босые ноги, на лице его пробегала улыбка оживления и самодовольства».

В юности Лев Николаевич страстно мечтал о георгиевском крестике и флигель-адъютантских аксельбантах. Теперь его пленяют уже иные, более современные знаки отличия. Но, в конце концов, не все ли равно, какие именно ордена – дырявые ли онучи или блестящие аксельбанты? Да и он ведь только утешается; аристократизм все-таки написан на лице его неизгладимыми чертами, и под мужичьим полушубком виден в нем прежний безукоризненно светский человек, и даже в этой внешней грубой оболочке светскость, может быть, еще заметнее, еще обаятельнее. Так иногда у самых великолепных восточных тканей основа делается нарочно грубой и шероховатой, чтобы тем роскошнее выступали по ней тонкие искрящиеся нити золотых и шелковых узоров.

Мягких постелей, пуховых подушек он терпеть не может: ему на них томно и душно. Он предпочитает прохладные кожаные изголовья. Но сибарит, который, томясь бессонницей на опостылевшем ложе из роз, мучится неловко подвернувшимся лепестком, как бы должен завидовать сну Льва Николаевича на его эпикурейски-мудром, жестком и сладостном ложе!

Идиллический запах навоза трогал чуть не до слез одного из самых чувственных и чувствительных баловней-баричей XVIII века – Жан Жака Руссо. Лев Николаевич также любит запах навоза. «Однажды утром, – рассказывает Анна Сейрон, – пришел он к завтраку прямо со свежеунавоженного поля. В то время в Ясной Поляне собралось еще несколько пришельцев, охотно занимавшихся удобрением поля вместе с графом. Окна и двери в комнате стояли все настежь открытыми, иначе нельзя было бы дышать. Граф оглядывался на нас весело, с довольной улыбкой». Он любит и благоухания. После косьбы, уходя с луга, сообщает Берс, непременно вытащит из копны клочок сена и, восхищаясь запахом, нюхает его. «Летом он всегда держит при себе цветок, один, но пахучий. Он держит его на столе, или в руке, или заткнутым за кожаный пояс». Надо видеть, с каким наслаждением он прижимает его к своим ноздрям, и «при этом во взгляде его на окружающих удивительно нежное выражение». Ему также чрезвычайно нравятся французские духи и надушенное белье. «Графиня заботится, чтобы в шкапу его с бельем всегда лежало саше». Так Лев Николаевич изобрел новый, утонченный способ наслаждаться ароматами: после навоза – запах цветка и духов еще упоительнее. Вот символ, вот соединение: под крестьянским, христианским полушубком – белье, надушенное сладострастным шипром или девственною Пармскою фиалкою.

Веселый мудрец, который некогда в Аттике, обрабатывая собственными руками крошечный сад, учил людей довольствоваться малым и ни во что не верить ни на небесах, ни на земле, кроме счастья, какое может дать луч солнца, цветок, немного хвороста, горящего зимой, и летом – немного студеной воды из глиняной чаши, – признал бы во Л. Толстом своего верного и, кажется, единственного ученика в этот варварский век, когда, среди безумно изнеженного и все-таки нищенски-грубого, одичалого американского «комфорта», мы все давно забыли, что такое истинная роскошь.

И графиня Софья Андреевна, уже переставшая спорить о раздаче имения и потихоньку, с нежно-хитрой, материнской улыбкой прячущая в белье Льва Николаевича саше с его любимыми духами, услуживает, помогает ему, верная и тайная сообщница, в этой новой, трудной и необычайной роскоши. «Она смотрит ему в глаза», – замечает один из наблюдателей. «Она, как неусыпная нянька, заботится о нем, – сообщает другой, – и только на самое короткое время расстается с ним. Изучивши подробно, в течение многих лет, привычки мужа, она, по выходе Льва Николаевича из кабинета, уже по одному его виду знает, как ему работалось и в каком он настроении. И если нужно что-нибудь переписать для него, то она немедленно все свои дела, которых у нее всегда полны руки, отложит; и солнце в этот день может не появляться, а к известному часу все, что нужно, непременно будет ею четко переписано и положено на письменный стол». И пусть он кажется неблагодарным, пусть говорит, что жена ему не друг, пусть даже не чувствует ее любви, как воздуха, которым дышит, – ей ведь и не нужно награды иной, кроме сознания, что без нее не мог бы он прожить ни дня, что она его сделала тем, что он есть. И «неусыпная нянька» лелеет, балует, баюкает, окружает своими заботами и ласками, как невидимыми, мягкими и крепкими сетями – «слабую паутину» – этого вечно непокорного и беспомощного семидесятилетнего ребенка.

Но, может быть, все-таки тайный червь грызет ему сердце? Может быть, преследует и мучает его сознание, что не исполнил он заповеди Христа, и пока тело его наслаждается, душа скорбит смертельно? Не замечает ли и гр. Софья Андреевна в том самом письме, где говорит о совершившемся в нем христианском перевороте – что он «поседел, ослаб здоровьем и стал тише, унылее, чем был». Берс также уверяет будто бы, приехав к нему после нескольких лет разлуки, сразу почувствовал, «что веселое и оживляющее других расположение духа, которое постоянно жило в Льве Николаевиче, теперь совсем исчезло». «Ласковый, а вместе с тем и серьезный тон его встречи как будто давал мне понять, что радость моя велика теперь, но истинные радости вовсе не эти».

Вникая, однако, в жизнь Л. Толстого, нельзя не прийти к выводу, что этому «унынию» не должно придавать особенного значения. Едва ли не было оно в связи с временным нездоровьем, одним из тех, свойственных ему, периодически повторяющихся колебаний, отливов и приливов телесной бодрости, которые соответствуют таким же периодически совершающимся в нем духовным переворотам. По крайней мере, Берс сообщает, что уже и в день его приезда Лев Николаевич не выдержал своего «серьезного тона», своей новой, как бы монашеской, тихости: «Наверно угадывая мою грусть по поводу произведенного им на меня впечатления, он, к удовольствию всех нас, пошутил со мною, внезапно вскочив мне на спину, когда я ходил по зале». И по этой шалости, которой, действительно, трудно было ожидать от человека, одним своим видом желавшего показать, что «истинные радости совсем не эти», – посетитель тотчас же узнал в нем прежнего Льва Николаевича.

Нет, радость жизни не иссякла в нем и донныне; и может быть, даже именно теперь, в старости, неисчерпаемый родник этой вечно детской радости кипит и бьет в нем с еще большею силою, чем в юности.

«Нельзя передать с достаточной полнотой того веселого и привлекательного настроения, которое царит в Ясной Поляне, – рассказывает очевидец, – и которого источник всегда Лев Николаевич. Вспоминаю игру в крокет. В ней участвовали все – и взрослые, и дети. Она начи-

налась обыкновенно после обеда и кончалась со свечами. Игру эту я и теперь готов считать *азартною*, потому что я играл в нее с Львом Николаевичем. Дети особенно дорожат его обществом, наперерыв желают играть с ним в одной партии; радуются, когда он затеет для них какое-нибудь упражнение. Со мною он косил, веял, делал гимнастику, бегал наперегонки, играл в чехарду и городки». Это было несколько лет тому назад. Но Сергеенко, который рассказывает о жизни его за последние годы, сообщает, что он и теперь по-прежнему играет целыми днями в лаун-теннис<sup>4</sup> и «бегает с мальчиками взапуски». Вечный праздник, как бы новый золотой век. «В доме у Толстых, – говорит Сергеенко, – всегда получается такое впечатление, как будто у них назначен любительский спектакль, и целый цветник молодежи готовится к этому событию, наполняя весь дом шумным оживлением, в котором иногда принимает деятельное участие и Лев Николаевич. Особенно, если возникает какая-нибудь забава, требующая движения, выносливости, проворства, тогда Л. Н. поминутно будет поглядывать на играющих и участвовать душою в их удачах и неудачах; часто он и сам не выдерживает и вмешивается в игру, обнаруживая при этом еще столько молодого жара и мускульной гибкости, что часто даже завидно делается, когда глядишь на него». Да, вечный праздник, вечная игра – то в поле за сохою, то на лаун-теннисе, то на лугу с косцами, то за расчисткою снега для конькобежного катка, то за постройкою печки для бедной бабы. И напрасно Софья Андреевна тревожится сомнениями, могут ли быть Льву Николаевичу в его годы полезными тридцативерстные прогулки на велосипеде. Что бы ни говорили врачи, он чувствует, что это постоянное, как будто бы даже чрезмерное, напряжение мышц и мускулов, эта вечная гимнастика или игра, которая еще забавнее и приятнее, когда называется «работою», – необходимы для его здоровья, для его жизни.

– Она укрепляет меня, – признается он сам, – дает мне крепкий сон, бодрое настроение и делает меня похожим на рабочую травяную лошадь. Дайте ей только отдохнуть, да накормите ее, и она опять годна для работы.

Берс рассказывает об одной игре, изобретенной Львом Николаевичем, которая возбуждала в детях особенно резвый и шумный восторг. Эта игра, под названием «Нумидийская конница», заключалась в том, что «Лев Николаевич совершенно внезапно вскакивал с места и, подняв одну руку вверх и предоставив свободу этой кисти, слегка пробегал по комнатам. Все дети, а иногда и взрослые, следовали его примеру с такой же внезапностью». В этом старике, который, как маленький мальчик, с внезапной резвостью бегает по комнатам и даже взрослых увлекает в игру, я узнаю того, кто говорит о себе с младенчески-ясною улыбкой: «Я человек веселый, я всех люблю, я дядя Ерощка!»

Изображая первые, как сны, волшебные и темные воспоминания самого далекого детства, когда ему было года три-четыре, описывает он одно из наиболее счастливых и сильных впечатлений своих – купание в корыте; «Я в первый раз заметил и *полюбил свое тельце* с видными мне ребрами на груди и гладкое темное корыто, и засученные руки няни, и теплую парную страшную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда водил по ним ручонками». Можно сказать, что с того мгновения, как трехлетним ребенком впервые заметил он и *полюбил* свое маленькое голое тело, он так и не переставал любить и жалеть его всю жизнь. Глубочайшая стихийная основа всех его чувств и мыслей – именно это первое, чистое, беспримесное ощущение плотской жизни – любовь к плоти. Это чувство выразил он, описывая радостное сознание животной жизни, которое однажды овладело Вронским перед свиданием с Анной Карениной. «Чувство это было так сильно, что он невольно улыбался. Он спустил ноги, заложил одну на колено другой и, взяв ее в руку, ощупал упругую икру ноги, зашибленной вчера при падении, и, откинувшись назад, вздохнул несколько раз всею грудью: „Хорошо, очень хорошо!“ – сказал он сам себе. Он и прежде часто испытывал радостное сознание своего тела, но *никогда он так не любил себя, своего тела...*»

<sup>4</sup> Lawn tennis (англ.) – то же, что и теннис.

Кажется, ни в ком эта чистая животная радость плотской жизни, знакомая древним, теперь сохранившаяся только у детей, не выражалась с такой откровенностью, первобытной и невинно-бесстыдною обнаженностью, как в Л. Толстом. И с годами она не только не уменьшается, но даже увеличивается, как бы отстаивается, очищается от всяких посторонних примесей. Как вино, она в нем – «чем старе, тем сильней». Весна его жизни кажется мрачной и бурной по сравнению с этой золотой лучезарно-тихой осенью. Как выразился один итальянский дипломат XVI века о другом великом жизнелюбце и эпикурейце – папе Александре Борджиа, – Лев Николаевич «к старости молодеет». Думая о смерти, как будто готовится только к земному бессмертию:

И ежели жизнью земною  
Творец ограничил летучий наш век,  
И нас за могильной доскою,  
За миром явлений не ждет ничего, —  
Творца оправдает могила его.

«Кто не был в этом небольшом деревянном доме, выкрашенном темною охрою? – умиляется Сергеенко, – ученые и писатели, художники и артисты, государственные и финансовые деятели, губернаторы, сектанты, земцы, сенаторы, студенты, военные, фабричные, рабочие, крестьяне, корреспонденты всех цветов и наций и проч., и проч. Не проходит дня зимою, чтобы в Долго-Хамовническом переулке не появилось какое-нибудь новое лицо, ищущее свидания с знаменитым русским писателем. – Кто только не обращается к нему с приветствием, с сочувствием, с мучительными запросами и обвинениями? Русская и французская молодежь, американцы, голландцы, поляки, англичане, баронесса Берта Сутнер и набожный брамин из Индии, умирающий Тургенев и мечущийся, как раненый зверь, разбойник Чуркин.

– Радостно узнавать, – сказал однажды Лев Николаевич, – про влияние на других людей, потому что только тогда убеждаешься, что огонь, который в тебе – настоящий – настоящий, если зажигает.

Эти слова напоминают его же признание другому собеседнику несколько лет назад:

– Я не заслужил генерала-от-артиллерии, зато сделался генералом-от-литературы.

Теперь он мог бы сказать, что заслужил генерала не только от литературы, но и от новой, грядущей в мир, социально-демократической религии. И второе повышение выгоднее первого.

Так сумел он соединить утонченнейшую роскошь и негу плоти с последнею роскошью и сладострастием духа – славою.

Где же, однако, заповедь Христа об отречении от собственности, о совершенном смирении и совершенной бедности, как единственном пути в Царствие Божие? Где этот соединяющий путь, как бы мост, перекинутый над пропастью, которую вырыли между нашей верою и верою русского народа, преобразования Петра? Где великий писатель земли русской в образе великого подвижника? И что случилось – увы! – с нашей надеждою на возможность чуда в истории русской культуры, – того, что этот, не только плотскими, но и духовными сокровищами богатейший из людей будет действительно в поте лица своего зарабатывать хлеб свой или, как дядя Влас, «в армяке, с открытым воротом, с обнаженной головой», протягивать руку за милостыней на построение еще неведомого русского и всемирного храма. До этого веселого «охотника», старого язычника, дяди Ерошки, до этого обновленного барина-эпикурейца, роскошного в самом воздержании и простоте, какое дело – не американским квакерам, не «корреспондентам всех цветов и наций», не баронессе Берте Сутнер и Полю Дерулэду, не губернаторам, студентам, сенаторам, государственным и финансовым деятелям и проч., и проч. – а тому, у кого не только на словах —

Сила вся души великая  
В дело Божие ушла,

тому, кто не только на словах «роздал имение»,  
**Сам остался бос и гол,**  
кто и доныне скитается по следам «Царя небесного, в рабском виде обошедшего родную землю»?

Полон скорбью неутешною,  
Смуглолиц, высок и прям,  
Ходит он стопой неспешною  
По селеньям, городам.  
.....  
Ходит с образом и с книгою,  
Сам с собой все говорит  
И железною веригою  
Тихо на ходу звенит.

Удивительно, с каким единодушным сочувствием все жизнеописатели не нарадуются на уютность, теплоту и довольство свитого Львом Николаевичем и Софьей Андреевной семейного гнезда. Хоть бы у кого-нибудь из них промелькнула мысль о противоречии между словом и делом того, кто обличает в противоречиях всю человеческую культуру. Но им, по-видимому, и в голову не приходит, что об этом надо говорить поосторожнее, позастенчивее, что это прославляемое ими довольство и барская, даже как бы несколько мещанская, сытость «благопристойной и добродетельной семьи», может произвести впечатление неожиданное на тех, кому случится вспомнить следующие слова:

«Одна степенно ведомая в пределах приличия, роскошная жизнь благопристойной, так называемой добродетельной, семьи, проедающей, однако, на себя столько рабочих дней, сколько достаточно бы на прокормление тысяч людей, в нищете живущих рядом с этой семьей, – более развращает людей, чем тысячи неистовых оргий грубых купцов, офицеров, рабочих, предающихся пьянству и разврату, разбивающих для потехи зеркала, посуду и т. п.».

Не собственную ли степенно ведомую и роскошную жизнь в Ясной Поляне разумел Лев Николаевич в этих словах своих? И не должно ли заключить из них, что он чувствует себя в своем доме, как в разбойничьем вертепе? Или это только страшные слова – не более?

Один из наивных писателей толстовской легенды, сообщив, что граф, хотя и не роздал именина, но перестал им пользоваться, «не считая того, что остался под кровлею яснополянского дома», прибавляет, как будто для того, чтобы заглушить уже всякие возможные сомнения и тревоги в совести читателя: «Они (супруги Толстые) ежегодно раздают от двух до трех тысяч рублей бедным». По математическому расчету, который в 80-х годах произвел такое действие на совесть Льва Николаевича, эти две-три тысячи равнялись бы, пятнадцать лет назад, двум-трем копейкам плотника Семена, а в настоящее время – одной копейке или даже полушке, ибо состояние Льва Николаевича именно за последние годы значительно выросло и не перестает расти, благодаря деловитости графини Софьи Андреевны, которая, «по совету одной подруги, – как сообщает Анна Сейрон, – начала извлекать сама выгоды из сочинений графа». «Дела у нее идут так хорошо, что прежние издатели из зависти стараются ей мешать, но она энергично ведет с ними борьбу. Положение графа при этом выходит странным. Его убеждение говорит ему, что деньги – вред и кладут начало всякой порче. „Кто дает деньги – тот дает зло“. Теперь же вдруг открылся новый источник золота, в собственных изданиях. Сначала он не хотел слушать, когда заводилась речь о деньгах и книгах; лицо его принимало выражение сму-

щения и страдания. Но графиня твердо стояла на своем, чтобы обеспечить будущность детей. Положение вещей, как оно было раньше, не могло продолжаться с увеличением семьи и при возрастающих расходах».

Тогда-то именно Лев Николаевич «постарался закрыть глаза» и «весь ушел в исполнение своей программы жизни», своих «четырёх упряжек». Но чем неумолимее разоблачал он противоречия современного буржуазного общества, чем искреннее проповедовал исполнение заповеди Христа – отречение от собственности, тем лучше расходились издания Софьи Андреевны, тем больший доход получала она с них. И то, что, казалось, грозило – на самом деле только способствовало имущественному благополучию семьи.

Однажды «отец Льва Николаевича, – рассказывает Сергеенко, – будучи в 1813 году, после блокады города Эрфурта, послан с депешами в Петербург, на возвратном пути, при местечке Сент-Оби, был взят в плен вместе со своим крепостным денщиком. Последний незаметно спрятав в сапог все золото своего барина и в течение нескольких месяцев, пока они были в плену, *ни разу не разувался*. Он натер себе ногу и нажил рану, но все время и виду не показывал, что ему больно. Зато, по приезде в Париж, граф Николай Ильич мог жить, ни в чем не нуждаясь, и сохранил о преданном денщике навсегда доброе воспоминание».

На преданности таких «людей», как этот денщик, зиждется все патриархальное счастье, вся «степенно ведомая жизнь так называемой добродетельной семьи», как на гранитном основании. Помнит ли об этом случае столетняя яснополянская ключница Агафья? По крайней мере о том, как старый барин Николай Ильич Толстой, Николай Ильич Ростов, «сжимая свой сангвинический кулак», говаривал: «крестьян нужно держать вот как!» – она уж, конечно, помнит. Это та самая Агафья, которая, рассказывая о детстве Льва Николаевича, утверждает, что он был «хорошим ребенком, только слабохарактерным»; когда же слышит об его новых приключениях, только усмехается странною усмешкою. Еще более хитрую, тонкую усмешку видел я на лице Василия Сютяева, тверского крестьянина, тоже проповедника евангельской бедности, одного из умнейших русских людей, с которым случилось мне однажды беседовать о Л. Толстом, немного времени спустя после того, как Лев Николаевич побывал у него. И вот теперь мне все кажется, что нечто подобное этой усмешке должно иногда мелькать и в лице давно уже примиренной, «свыкшейся с учением мужа», графини Софьи Андреевны.

Да, деды и прадеды, бабушки и прабабушки, которых старинные портреты смотрят со стен веселых яснополянских покоев, с выражением заботы в глазах, свойственной глазам предков – «только бы дома было все благополучно!», – могут быть спокойны; дома все благополучно, все по-старому: как было при них, так есть и будет. Знаменитые «четыре упряжки» оказались не такими страшными, как можно было думать сначала. Пока Лев Николаевич отдыхает от велосипедной прогулки или от крестьянской работы в поле, от игры в лаун-теннис или кладки печи для бедной бабы, графиня Софья Андреевна всю ночь не спит за корректурами для нового издания, «нового источника золота», часть которого недаром сохранил для барина в сапоге своем верный денщик.

И лица предков благосклонно улыбаются в потускневших рамках.

Однажды «при мне приехал к Льву Николаевичу больной и погоревший мужик, – рассказывает Берс, – просить у него леса для сарая. Он пригласил меня, мы взяли топоры и вдвоем мигом срубили в яснополянском лесу несколько деревьев, обрубили сучья и увязали бревна на тележном ходу мужика. Я должен сознаться, что делал это с увлечением. Я испытывал неизведанное еще чувство радости, может быть, вследствие влияния Льва Николаевича, а может быть, и только оттого, что делал это для несчастного, то есть на самом деле больного, измученного и неимущего человека. Мужик стоял в то время поодаль с покорным видом. Лев Николаевич, конечно, замечая мою радость, нарочно уступал мне работу, и я срубил почти все деревья, – как будто этим он хотел открыть мне новые ощущения. Когда мы отправили мужика, он, Лев Николаевич, сказал:

– Разве можно сомневаться в необходимости и в удовольствии такой помощи?»

В самом деле, можно ли в этом сомневаться? Почему, однако, все-таки кажется, что мужик стоял не только с покорным, но и с унылым видом в то время, как господа наслаждались своим добрым делом? Чего ему еще нужно было? На что он рассчитывал? Уж не на обыкновенную ли милостыню деньгами? Но ведь Лев Николаевич при себе денег не носит. Или больному просто было холодно, скучно и томно ждать окончания барской работы? Кто, впрочем, угадает, какие насмешливые и неблагодарные мысли проходят в уме мужика, когда ему помогают господа с особенным удовольствием – ибо люди вообще, а яснополянские мужики в особенности, по природе своей насмешливы и неблагодарны.

– Большинство мужиков, – признается сам Лев Николаевич, – смотрит на меня, как на рог изобилия, и только. Да и можно ли требовать от них иных отношений? Ведь жизнь их и взгляды слагались веками под влиянием множества неотразимых условий. И разве может один человек изменить все это?

Это, однако же, и есть именно то самое, что возражала ему графиня Софья Андреевна по поводу раздачи имения. «Я не могу пустить детей по миру, когда никто не хочет исполнять того же!» В чем же собственно Лев Николаевич с нею расходится? Это и есть главный, как будто неопровержимый довод «князя мира сего», великого Логика, который убаюкивает нас в нашей языческой мерзости, и вследствие которого христианство, вот уже скоро двадцать веков, все никак нигде «не удастся»: если не может один человек изменить все это, то пусть все и остается по-прежнему. Это и есть та срединная пошлость, на которой стоит мир, по крайней мере, наш демократически-мещанский мир, и которая делает для него «слабую паутину собственности» железную цепью. Это и есть то, что придает всем нашим христианским чувствам благородную, безопасную «теплоту», о которой сказано в Апокалипсисе ангелу Лаодикийской церкви: «о, если бы ты был холоден или горяч, но поелику ты тепл, изблюю тебя из уст моих».

«– Я дал вам, что мог, и больше не могу», – говорит Лев Николаевич «с страдальческой ноткой» обступившим его просителям.

«Мы направляемся через сад. Но нам перерезывает путь мужичонка с золотушным мальчиком. Лев Николаевич останавливается.

– Что тебе?

Мужик толкает вперед мальчика. Мальчик мнетса и, смущаясь и растягивая слова, обращается к Льву Николаевичу:

– Да-ай жере-бе-ночка...

Мне делается неловко, и я не знаю куда глядеть.

Лев Николаевич пожимает плечами.

– Какого жеребеночка? Что за глупость! У меня нет никакого жеребеночка.

– Нет есть, – заявляет мужичонка и с быстротою выдвигается вперед.

– Ну, я ничего этого не знаю. Иди с Богом! – говорит Лев Николаевич и, сделав несколько шагов, легко перепрыгивает через канаву».

Но совершенно ли он уверен в том, что у него действительно нет никакого жеребеночка?

В «Детстве и отрочестве» Л. Толстой рассказывает, как однажды, забыв сказать об одном грехе духовнику на исповеди, поехал он к нему снова исповедоваться. Возвращаясь домой из монастыря на извозчике, почувствовал он радостное умиление и некоторую гордость от сознания своего доброго поступка. И ему захотелось поговорить с кем-нибудь, поделиться этим чувством. Но так как под рукой никого не было, кроме извозчика, он обратился к нему, рассказал ему все и описал все свои прекрасные чувства.

«– Так-с, – сказал извозчик недоверчиво.

И долго после этого он молчал и сидел неподвижно... Я уже думал, что и он думает про меня то же, что духовник, – то есть, что такого прекрасного молодого человека, как я, другого нет на свете; но вдруг он обратился ко мне:

– А что, барин, ваше дело господское.

– Что? – спросил я.

– Дело-то, дело господское, – повторил он, шамкая беззубыми губами.

«Нет, он меня не понял», – подумал я, но уже больше не говорил с ним до самого дома».

И Льву Николаевичу стало стыдно.

«Я даже теперь, – прибавляет он, – краснею при этом воспоминании».

Мне кажется, что больной крестьянин, который с покорным и унылым видом смотрел, как добрые господа собственными руками рубят для него деревья, и тот нелепый мужичонка, который требовал от Льва Николаевича несуществующего жеребеночка, могли бы сказать ему точно так же, как извозчик:

– А что, барин, дело-то, дело ваше господское?

Так вот как он исполнил заповедь Христа, как разрушил слабую паутину собственности: «Ну, я этого ничего не знаю. Иди с Богом».

Один из очевидцев уверяет, будто бы Лев Николаевич, что бы ни делал, «никогда не бывает *смешон*». Хотелось бы этому верить. Но я все-таки боюсь, что в ту минуту, когда, убегая от нелепого мужичонки, с удивительной для семидесятилетнего старика быстротой и легкостью перепрыгивал Лев Николаевич через канаву, – он был несколько смешон. О, я слишком чувствую, что тут не одно смешное, но и жалкое, и страшное для него и для всех нас. И как почти всегда это бывает в современной жизни – чем смешнее, тем страшнее.

Не страшно ли, в самом деле, то, что и этот человек, который так бесконечно жаждал правды, так неумолимо обличал себя и других, как никто никогда, что и он допустил в свою совесть такую вопиющую ложь, такое безобразное противоречие? Самый маленький, и в то же время самый сильный из дьяволов, современный дьявол собственности, мещанского довольства, серединной пошлости, так называемой «душевной теплоты», не одержал ли в нем своей последней и величайшей победы?

Если бы толстовская легенда сложилась в сумерках средних веков, можно бы подумать, что в образе нелепого мужичонки, который требовал невозможного жеребеночка, воплотился этот дьявол. И когда Лев Николаевич убежал от него, все равно, со стыдом ли, с ужасом или с невозмутимой беспечностью – как, должно быть. Искуситель торжествовал, как смеялся, повторяя одну из своих любимых, страшных шуток:

«А разве ты не знал, что я ведь тоже Логик?»

## Пятая глава

«Ты царь – живи один», – говорил себе Пушкин; но, несмотря на великое внутреннее одиночество, он более, чем кто-либо, всю жизнь окружен был «друзьями». Удивительна в нем эта способность быстрой и как будто даже опрометчивой дружбы, простого и легкого общения с людьми, равно великими и малыми, с Гоголем и Ариной Родионовной, с императором Николаем, Баратынским, Дельвигом, Языковым и Бог весть еще с кем, чуть ли не с первым встречным.

Нет, ты не проклял нас!.. Ты любишь с высоты

Скрываться в тень долины малой,

Ты любишь гром небес и также внемлешь ты

Журчанью пчел над розой алой.

В нем столько естественного, бессознательно христианского прощения, снисхождения к малым. И ни тени зависти, корысти или злобы – к великим. С какой беспечностью отдает он сердце свое, с какой царственной щедростью, даже расточительностью. Он кажется всем человеком, как все, «добрым малым» Пушкиным. И почти никто из «друзей» не подозревает страш-

ного величия его, безнадежного одиночества. Оно обнаружилось вдруг только перед самой смертью, когда он мог сказать себе с тихой последнею горечью: «Ты царь – *умри* один!»

И Гёте, еще более одинокий, чем Пушкин, умел «скрываться в тень долины малой» со своих ледяных безмолвных вершин, где обитают ужасные *Матери*, – для дружбы с пламенным и столь земным, несмотря на свою «небесность», Шиллером.

В жизни Л. Толстого поражает особое одиночество, не то, которое свойственно гениям, а иное, земное, житейское, человеческое. Он приобрел себе почти все, что может человек приобрести на земле, – кроме друга. Его отношения к Фету нельзя назвать дружбою: он смотрит на него слишком свысока. Да и мог ли Фет быть другом Толстому? Это скорее приятельство двух барских, помещичьих семей – не более. Вся жизнь окружают его только родственники, поклонники, наблюдатели, или наблюдаемые, и, наконец, ученики – последние, кажется, дальше всех от него. И с годами увеличивается в нем эта слишком благоразумная, расчетливая замкнутость, бережливость сердца, совершенная неспособность к дружбе. Один только раз судьба, как бы желая испытать его, послала ему достойного великого друга. И он сам оттолкнул его или не сумел приблизить. Я разумею Тургенева.

Их отношения – одна из труднейших и любопытнейших психологических загадок в истории русской литературы. Какая-то таинственная сила влекла их друг к другу, но, когда они сходились до известной близости, – отталкивала, для того, чтобы потом снова притягивать. Они были неприятны, почти невыносимы и, вместе с тем, единственно близки, нужны друг другу. И никогда не могли они ни сойтись, ни разойтись окончательно.

Тургенев первый понял и приветствовал в Толстом великого русского писателя: «Когда это молодое вино перебродит, выйдет напиток, достойный богов», – еще в 1856 году писал он Дружинину. А через двадцать лет с лишком – Фету: «Имя Л. Толстого начинает приобретать европейскую знаменитость; мы, русские, давно знаем, что у него нет соперников».

«Мнение человека, – признается Л. Толстой, – которого я не люблю, и тем более, чем более вырастаю, – мне дорого – Тургенева».

«В отдалении, хотя это звучит довольно странно, – пишет он самому Тургеневу, – сердце мое к вам лежит, как к брату. Одним словом, *я вас люблю*, это несомненно».

Григорович рассказывает о вечерах «Современника» на квартире Некрасова в 50-х годах. «Толстой лежит в средней проходной комнате на сафьянном диване и дуется, а Тургенев, раздвинув полы своего короткого пиджака, с заложенными в карманы руками, продолжает ходить взад и вперед по всем трем комнатам. В предупреждение катастрофы Григорович подходит к Толстому:

– Голубчик, Толстой, не волнуйтесь. Вы знаете, как он вас ценит и любит.

– Я не позволю ему ничего делать мне назло, – говорит Толстой с раздувающимися ноздрями. – Это вот он нарочно теперь ходит взад и вперед мимо меня и виляет своими демократическими ляжками!..»

Наконец «катастрофа», которой не даром боялся Григорович, разыгралась в Степановке, имении Фета, в 1861 году – ссора из-за пустяков, которая, однако, едва не довела их до поединка. Тургенев был виноват. Он погорячился, сказал лишнее. Толстой был прав – как во всех своих житейских отношениях, безукоризнен и, несмотря на кажущийся внешний пыл, внутренне холоден, замкнут и сдержан. А между тем, как это ни странно, виноватый Тургенев производит менее тягостное впечатление в этой ссоре, чем правый Толстой. Тургенев тотчас опомнился и как мужественно, как просто и великодушно извинился. Толстой принял или только хотел принять его извинение за трусость.

«Я этого человека презираю», – писал он Фету, зная, что слова его будут переданы врагу.

«Я чувствовал, – признавался Тургенев, – что он меня ненавидит, и не понимал, почему он постоянно ко мне обращается. Я должен был бы по-прежнему держаться от него в стороне;

я же попробовал приблизиться к нему, и это чуть не привело нас к дуэли. Я никогда не любил его. И как я не понял всего этого раньше!»

Казалось бы, все между ними кончено бесповоротно. Но вот, через семнадцать лет, Толстой делает снова первый шаг к Тургеневу, снова к нему «обращается» и предлагает ему помириться. Тургенев тотчас отвечает с радостною готовностью, как будто сам только и хотел, и ждал этого примирения, встречает его, как после долгой невольной разлуки самого близкого родного человека.

И последняя мысль умирающего Тургенева обращена к «другу», к Толстому:

«Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар ваш оттуда, откуда все другое. Ах, как бы я был счастлив, если бы мог подумать, что просьба моя так на вас подействует... Друг мой, великий писатель земли русской, внимлите моей просьбе!»

В этих словах есть недоговоренный страх за Толстого, безмолвное недоверие к его христианскому перерождению. Толстой ничего не ответил, по крайней мере, перед лицом русского народа, как обратился к нему Тургенев – не ответил ему. И как знать, не уязвило ли его это письмо, исполненное той бесконечной силы правды, которую люди говорят только на краю гроба, большее, чем какое-либо из их прежних столкновений? Не повторил ли он в тайне сердца своего, с пробудившеюся снова неодолимою ненавистью, с напрасным желанием презрения: я этого человека презираю. Как всегда в тех именно случаях, когда, казалось бы, следует ожидать от него самого великого, правдивого, всерешающего слова, он замолчал и пропустил мимо ушей эту последнюю мольбу умирающего друга и врага своего, как недостойную ответа.

Однажды Тургенев сказал, может быть, самое глубокое и проникновенное слово, которое когда-либо говорилось о Л. Толстом: главный недостаток его заключается в отсутствии *духовной свободы*.

О Левине, который, как это было Тургеневу ясно, есть двойник самого Льва Толстого, он писал одному приятелю:

«Разве мог бы ты хоть на секунду допустить... *что Левин вообще способен кого-нибудь любить?* Нет, любовь – это одна из тех страстей, которые уничтожают наше «я»... Левин же, узнав, что он любим и счастлив, не перестает заниматься своим собственным «я», не перестает ухаживать за самим собою... *Левин – эгоист до мозга костей*».

– У вас есть удивительное, редкое качество – откровенность, – замечает Нехлюдов Иртеньеву.

– Да, – соглашается Иртеньев не без тайного самодовольства, – я всегда говорю именно те вещи, в которых мне стыдно признаться.

Странное, однако, впечатление производит «откровенность» Толстого, если глубже вникнуть в нее: начинает казаться, что эту откровенностью он еще больше скрывает последнюю глубину и тайну свою, так что, чем откровеннее он, тем скрытнее. Всегда говорит именно те вещи, в которых стыдно ему признаться, кроме одной, главной, самой стыдной и страшной: о ней он ни с кем, даже с самим собою, никогда не говорит. Тургенев был единственный человек, с которым он не мог, как со всеми, ни молчать, ни быть скрытно откровенным. Тургенев слишком хорошо знал, что такое Левин, слишком ясно видел, что никогда никого не может он полюбить, кроме себя, и что в этом – последний стыд, последний страх его, в которых признаться не имеет он силы. В чрезмерном ясновидении Тургенева заключается, может быть, главная причина той загадочной, то притягивающей, то отталкивающей силы, которая так чудесно играла ими всю жизнь. Они были как два зеркала, поставленные друг против друга, отражающие, углубляющие друг друга до бесконечности; оба они боялись этой слишком прозрачной и темной бесконечности.

Столь же замечательны отношения Л. Толстого к Достоевскому.

Они никогда не видались. Лев Николаевич в течение долгих лет собирался с ним познакомиться: «Я его так и считал моим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что

теперь только не пришлось, но что это мое». Все собирался, но так и не собрался, не удосужился, и только после знаменитых похорон Достоевского, когда все сразу заговорили, закричали о нем, засуетились, как будто впервые открыли его, и Лев Николаевич, наконец, присоединился к общему хору, тоже заторопился навстречу всенародному признанию, вспомнил и о своей заочной, запоздалой любви и *вдруг* почувствовал, что это был «самый близкий, дорогой, нужный» ему человек. «Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся... я плакал и теперь плачу... На днях, до его смерти я прочел „Униженные и оскорбленные“ и умилялся».

Удивительно, однако, как ему до конца – не везло с Достоевским: ну почему бы, кажется, уж если «плакать и умиляться», не выбрать чего-нибудь более заслуживающего, хотя бы «Преступление и наказание», «Идиота», «Братьев Карамазовых»? Почему остановился он именно на одном из немногих посредственных, юношеских и устарелых, не имеющих будущности, произведений Достоевского, на «Униженных и оскорбленных»? Опять досадная случайность, опять «не пришлось», не удосужился?

Но вот что еще более удивительно в этом «похоронном» письме:

«...Никогда мне в голову не приходило меряться с ним – никогда, – уверяет Л. Толстой. – Все, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал)», – не предполагают ли, однако, эти скобки, что Достоевский делал и не настоящее, не хорошее, о чем он, Лев Николаевич, здесь, над гробом, считает пристойным умолчать? – «все, что он делал, было такое, что, чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца только радость».

Что это? Как понять? Слишком ли он тут скрытен, или слишком откровенен? признается в зависти вообще, но отнюдь не в зависти к величайшему сопернику: в произведениях Достоевского, мол, только «дело сердца», не более? Неужели, однако, не более? Неужели во всем Достоевском так-таки и нет ничего, кроме «дела сердца», – ни ума, ни искусства, которым бы иногда мог и Л. Толстой позавидовать? Или же в сравнении с «делом сердца» искусство и ум у Достоевского так не важны, так мелки, что о них и говорить не стоит? Но ведь от такой похвалы не поздоровится. А Лев Николаевич плакал, конечно, искренне плакал и умилялся над Достоевским... Не целый ли лабиринт в этих немногих словах? Попробуйте-ка, разберитесь в них. Снаружи как просто – как сложно внутри. Кажется, мысль его смотрит мне прямо в глаза, невинная, голая, но только что я пытаюсь поймать ее, она, как оборотень, ускользает из рук моих, и нет ее, и я не знаю, что это было, – только холодно и жутко.

И в этом письме, как, впрочем, всегда, не обмолвился он ни словом о самом важном, любопытном, вызывающем на неизбежную последнюю откровенность, – об отношении не только своем к Достоевскому, но и Достоевского к нему. А ведь именно Достоевский говорил, и еще незадолго до смерти об учении Л. Толстого, о христианском перерождении его так прямо, так искренно, как никто никогда не говорил. Или опять «не пришлось», не случилось Льву Николаевичу заглянуть в «Дневник писателя», или он просто не полюбостествовал? А ведь как бы не полюбостествовать, кажется, не узнать, что думает о святом-святых его этот «самый близкий, нужный ему, дорогой человек», эта внутренняя «опора» всей духовной жизни его? И о чем бы, кажется, и кому говорить, как не об этом Льву Толстому с Достоевским, и особенно в такую торжественную минуту, когда он вдруг почувствовал, что опоздал к живому другу, и что ему остается только плакать над мертвым?

Достоевский первый пророчески указал на будущее, в то время почти никому еще не понятное, да и доньше едва ли вполне понятное, *всемирное* значение художественных произведений Толстого. И так же ясно, как силу, видел он и слабость его. О Левине Достоевский говорит почти то же самое, что Тургенев: «Левин эгоист до мозга костей», – только другими словами. Он спрашивает себя: «Отчего произошло столь *мрачное обособление Левина и столь угрюмое отъединение в сторону?*» И возвращается не раз к этому вопросу, между прочим, размышляя и о так называемом «опрощении» Левина и Льва Толстого, об их попытках «вер-

нуться к народу». Достоевский сознавал, что он более, чем кто-либо из русских культурных людей, имеет право высказать свое мнение по этому поводу: «Я видел народ наш и знаю его, жил с ним довольно лет, ел с ним, спал с ним и сам „к злодеям причтен был“, работал с ним настоящей мозольной работой... Не говорите же мне, что я не знаю народа! Я его знаю».

Достоевский думал, что бездна, отделяющая таких людей, как Левин и Лев Толстой, от народа, гораздо глубже и непереступнее, чем они полагают. «Ничего нет ужаснее, как жить не в своей среде. Мужик, переселенный из Таганрога в Петропавловский порт, тотчас же найдет там такого же точно русского мужика, тотчас же сговорится и сладится с ним. Не то для „благородных“. Они разделены с простонародьем глубочайшей бездной, и это замечается *вполне* только тогда, когда *благородный* вдруг сам, силою внешних обстоятельств, действительно, на деле лишится прежних прав своих и обратится в простонародье. Не то, хоть всю жизнь свою знайтесь с народом, хоть сорок лет сряду каждый день сходитесь с ним... по-дружески, в виде благодетеля или в некотором смысле отца, – никогда самой сущности не узнаете. Все будет только оптический обман и ничего больше. Я ведь знаю, что все, решительно все, читая мое замечание, скажут, что я преувеличиваю. Но я убежден, что оно верно... Может быть, впоследствии все узнают, до какой степени это справедливо».

«...Надо делать только то, что велит сердце: велит отдать имение – отдайте, велит идти работать на всех – идите, но и тут не делайте так, как иные мечтатели, которые прямо берутся за тачку: „дескать, я не барин, я хочу работать, как мужик“. Тачка опять-таки мундир... Не раздача имения обязательна и не одевание зипуна: все это лишь буква и формальность; обязательна и важна лишь *решимость ваша делать все ради деятельной любви*, все, что возможно вам, что искренно признаете для себя возможным. Все же эти старания «опроститься» – лишь одно только переряживание, невежливое даже к народу и вас унижающее».

«...Сомнения кончились, и Левин уверовал, – во что? Он еще этого строго не определил, но он уже верует. Но вера ли это? – Надобно полагать, что еще нет. Мало того: вряд ли у таких, как Левин, и может быть окончательная вера. Левин любит называть себя народом, но *это барич, московский барич средне-высшего круга*, историком которого и был по преимуществу граф Л. Толстой. – Я хочу только сказать, что вот эти, как Левин, сколько бы ни прожили с народом или подле народа, но народом вполне не сделаются, мало того – во многих пунктах так и не поймут его никогда вовсе. Мало одного самомнения или акта воли, да еще столь причудливой, чтобы захотеть и стать народом. Пусть он помещик, и работающий помещик, и работы мужицкие знает, и сам косит, и телегу запрячь умеет... Все-таки в душе его, как он ни старайся, останется оттенок чего-то, что можно, я думаю, назвать праздношатайством, – тем самым праздношатайством, физическим и духовным, которое, как он ни крепись, а все же досталось ему по наследству, и которое уж, во всяком случае, видит во всяком барине народ. – А веру свою он разрушит опять, разрушит сам, долго не продержится: выйдет какой-нибудь новый сучок и разом все рухнет. – Одним словом, эта чистая душа есть самая праздно-хаотическая душа, иначе он не был бы современным русским интеллигентным барином, да еще средне-высшего дворянского круга».

Не знаменательно ли совпадение в отзыве о Левине и Льве Толстом двух столь своеобразных, чуждых друг другу и даже противоположных умов, как «западник» Тургенев и «славянофил» Достоевский? «Никогда никого не любил, кроме себя самого, – „эгоист до мозга костей“ – „московский барич средне-высшего круга“ – „праздно-хаотическая душа“ – „праздношатайство“. Неужели, однако, это последний приговор?

Кажется, Тургенев и Достоевский справедливы, но не *до конца* справедливы; в пылу слишком близкой и страстной борьбы не захотели или не сумели они высказать все, что, может быть, им самим уже смутно чуялось и в Левине, и во Льве Толстом, как искателях новой религии. Кажется, теперь для нас, более далеких и более спокойных, возможно и большее проникновение в эту все-таки единственно великую человеческую душу, потому что для нас возможно

большее милосердие. А ведь только последнее милосердие есть в то же время и последняя справедливость.

Ежели есть в жизни, в действиях Л. Толстого то, что я называю «эпикурейством» или «охотничеством» дяди Ерошки, что Достоевский, пожалуй, с чрезмерной резкостью, называл «праздношатайством московского барича», то все-таки во внежизненном, творческом созерцании своем и в своей бессознательной стихии – он глубже эпикурейства. Все-таки первая основа души его так же, как у всех людей нашего времени – бездонно глубокая, трагическая. Стоит взглянуть на это лицо, до грубости сильное, лицо еще слепого подземного титана, чтобы почувствовать, что это *не только* «эпикурец», *не только* «барич средне-высшего дворянского круга», и что уж во всяком случае это не обыкновенный, безмятежный и беззастенчивый эпикурец, как, например, наши русские бары XVIII века, что это – недаром в образе нищего Лазаря от самого себя скрывающийся богач, огорченный, испуганный и застыдившийся эпикурец. Сквозь лучезарнейшую радость жизни, хотя и не в живом, не в явном, не в дневном, а в темном, закрытом, еще слепом, подземном и тайном лице его я узнаю каинову печать нашего века, печать неисцелимой скорби и гордыни. И те, кого назвал Баратынский

Поэзии таинственных скорбей  
Могучие и сумрачные дети,

могли бы иногда приветствовать в нем одного из своих —

Ты с нами пил из общей чаши,  
Как мы, отравлен и велик.

Будущего он не достиг, но и к прошлому нет для него возврата. Он не доплыл до другого берега, не долетел до другого края бездны – он погибает, но его величие в гибели его.

Он никогда никого не любил, даже и себя не дерзнул любить последнею бесстрашною и бесстрашною любовью. Но кто с большею мукою жаждал любви, чем он? Он никогда ни во что не верил. Но кто с большею неутомимостью жаждал веры, чем он? Это не все, но разве этого мало?

«Пускай, – говорит он в *«Исповеди»*, – пускай я, выпавший птенец, лежу на спине, пишу в высокой траве, но я пишу оттого, что знаю, что меня в себе выносила мать, высиживала, грела, кормила, любила. Где она, эта мать? Если забросили меня, то кто же забросил? Не могу я скрыть от себя, что, любя, родил меня кто-то. Кто же этот кто-то?»

Я не верю ему, когда он уверяет, будто бы нашел истину и навсегда успокоился, что теперь ему «все ясно стало». И кажется, когда он это говорит, – он всего дальше от Бога и от истины. Но я не могу ему не поверить, когда он говорит о себе, как о жалком, выпавшем из гнезда птенце. Да, как ни страшно, а это так. И он, этот титан со всей своей силою – только жалкий птенец, который выпал из гнезда, лежит на спине и пищит в высокой траве, как я и вы, и все мы до единого. Нет, ничего не нашел он – никакой веры, никакого Бога. И все его оправдание – только в этой безнадежной мольбе, и в этом пронзительно-жалобном крике беспредельного одиночества и ужаса. Да, и он, и все мы только смутно чувствуем, но еще не знаем, какие мы действительно жалкие, покинутые птенцы, лишенные нашей единственной всечеловеческой Матери-Церкви, – я разумею Церковь не прошлого и не настоящего, а грядущего Иерусалима, ту, которая всегда говорит людям: сколько раз хотела я собрать вас, как мать собирает птенцов под крылья свои, и вы не захотели.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.